

всепишняя историа в романах

Вальтер Скотт

Квентин Дорвард



Всемирная история в романах

Вальтер Скотт

Квентин Дорвард

«ВЕЧЕ»

1823

Скотт В.

Квентин Дорвард / В. Скотт — «ВЕЧЕ», 1823 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4444-9177-5

XV век, Франция. Квентин Дорвард, молодой шотландский солдат-наемник из погибшего в кровавой расправе дворянского рода, оказывается на службе у короля Людовика XI. Хозяин Квентина – стратег отменный, все люди вокруг него – пешки в сложной политической игре. До поры гордый шотландец готов это терпеть, но когда будут затронуты его сердце и честь – тут уж извините. Каждый за себя. В своем бессмертном романе сэр Вальтер Скотт легко и красиво, как устрицу, вскрывает суть уходящей эпохи – «Осени Средневековья».

ISBN 978-5-4444-9177-5

© Скотт В., 1823

© ВЕЧЕ, 1823

Содержание

Об авторе	6
Предисловие к «Квентину Дорварду»	8
Глава I. Контраст	14
Глава II. Путник	19
Глава III. Замок	26
Глава IV. Завтрак	31
Глава V. Воин	41
Глава VI. Цыгане	48
Глава VII. Стрелок королевской гвардии	58
Глава VIII. Посол	65
Глава IX. Охота на вепря	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79
Комментарии	

Вальтер Скотт Квентин Дорвард

© ООО «Издательство «Вече», 2016

* * *

Об авторе

Имя Вальтера Скотта хорошо известно русским читателям, почти так же хорошо, как шотландским, английским, французским и другим любителям книги. Этот великолепный прозаик, романтический поэт, серьезный историк, известный собиратель древностей и преуспевающий адвокат считается основоположником исторического романа в его современном понимании. Он родился в Эдинбурге в семье юриста 15 августа 1771 г. В январе следующего года младенец заболел детским параличом, в результате чего остался на всю жизнь хромым. Уже в ранние годы Вальтер (а точнее – Уолтер) поражал родных и близких живым умом и феноменальной памятью. В колледже мальчик окреп, увлекся горным туризмом (как сказали бы мы сейчас), много читал, предпочитая старинные шотландские баллады и стихи немецких романтиков. Переводом баллад одного из них, Готфрида Бюргера, начался литературный путь В. Скотта. В 1792 г. юноша получает диплом адвоката. Профессия позволяет ему ездить по стране, по обе стороны так называемой Шотландской границы. В каждой поездке молодой адвокат находил время для записи народных баллад и легенд. В те же годы Вальтер пережил несчастную любовь. Следы этого увлечения можно найти во многих романах писателя. В 1800 г. Скотт публикует первое собственное сочинение, балладу «Иванов вечер». Спустя два года он выпускает сборник «Песни Шотландской границы», где наряду с собранным народным фольклором публикует и собственные стихи. В 1805 г. выходит «Песня последнего менестреля», а в 1808 г. – роман в стихах «Мармион». К тому времени молодой адвокат женился на Шарлотте Карпентер (1807) и поселился в собственном поместье Эбботсфорд, перестроенном под романтический замок. Здесь, в сущности, и родились произведения, принесшие В. Скотту всемирную известность, – его исторические романы. Первым успехом стал «Уэверли», опубликованный в 1814 г. За ним последовали «Гай Мэннеринг», «Антиквар», «Пуритане», «Роб Рой» и др. Последний роман («Осада Мальты») вышел в год смерти писателя, в 1832 г. Всего Скоттом написано 28 романов, множество повестей, литературно-критических статей, исторических трудов (таких, как «Смерть лорда Байрона», «Рассказы из истории Франции», «Жизнь Наполеона Бонапарта», «История Шотландии»). Интересно, что до 1827 г. романы Вальтера Скотта выходили без указания имени автора! Писатель очень много и напряженно работал; видимо, это и стало причиной апоплексического удара, перенесенного в 1830 г., за которым последовали еще два. Писатель, ставший национальной гордостью шотландцев, умер от инфаркта 21 сентября 1832 г. в своем поместье. Слава его романов быстро докатилась до России, и книги знаменитого романиста выходили почти одновременно с британскими изданиями. Не одна Россия была очарована Вальтером Скоттом. И популярность писателя не ограничивалась литературой. К примеру, в XIX веке сюжеты В. Скотта стали основой таких превосходных лирических опер, как «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Женщина с озера» Дж. Россини, «Пертская красавица» Ж. Бизе. В XX веке по мотивам исторических романов шотландского гения снято немало кинофильмов, причем лидируют здесь сюжеты романов «Айвенго» и «Роб Рой». Лента про Айвенго снята и отечественными кинематографистами. Ну а литературные оригиналы героев Вальтера Скотта продолжают увлекать и в XXI столетии читателей всех континентов планеты.

Анатолий Москвин

Избранная библиография Вальтера Скотта:

Уэверли, или Шестьдесят лет назад (Waverley, 1814)
Гай Мэннеринг, или Астролог (Guy Mannering, 1815)

Чёрный карлик (The Black Dwarf and The Tale of Old Mortality, 1816)
Антиквар (The Antiquary, 1816)
Пуритане (The Tale of Old Mortality, 1816)
Роб Рой (Rob Roy, 1817)
Эдинбургская темница (The Heart of Midlothian, 1818)
Айвенго (Ivanhoe, 1819)
Ламмермурская невеста (The Bride of Lammermoor, 1819)
Легенда о Монтрозе (A Legend of Montrose, 1819)
Монастырь (The Monastery, 1820)
Аббат (The Abbot, 1820)
Кенилворт (Kenilworth, 1821)
Пират (The Pirate, 1822)
Приключения Найджела (The Fortunes of Nigel, 1822)
Певерил Пик (Peeveril of the Peak, 1822)
Квентин Дорвард (Quentin Durward, 1823)
Сент-Ронанские воды (St. Ronan's Well, 1824)
Редгонтлет (Redgauntlet, 1824)
Обрученная (The Betrothed, 1825)
Талисман (The Talisman, 1825)
Вудсток, или Кавалер (Woodstock, 1826)
Пертская красавица, или Валентинов день (The Fair Maid of Perth, 1828)
Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, дева Мрака (Anne of Geierstein, 1829)
Замок опасный (Castle Dangerous, 1831)
Граф Роберт Парижский (Count Robert of Paris, 1832)
Осада Мальты (The Siege of Malta, 1832)

Предисловие к «Квентину Дорварду»

1

[1]

Действие романа относится к пятнадцатому столетию, когда феодальная система, которая была двигательной силой и нервом национальной обороны, и дух рыцарства, оживлявший и вдохновлявший эту систему, начали изменяться под влиянием более грубых людей, сосредоточивших свое внимание на достижении личных целей и видевших именно в этом свое счастье. Разумеется, подобный эгоизм проявлялся и в более ранние эпохи, но только теперь впервые он провозглашался открыто, как признанный метод поведения. Дух рыцарства обладал тем достоинством, что, какими бы натянутыми и фантастическими ни казались нам многие из его доктрин, все они основывались на великодушии и самоотречении, то есть на качествах, без которых было бы трудно понять наличие добродетели среди людей.

Среди тех, кто первым стал высмеивать и отвергать эти принципы самоотречения, на которых воспитывались и тщательно готовились юные рыцари, главным был Людовик XI^[2], король Франции. Монарх этот, наделенный характером в высшей степени эгоистичным, неспособный предпринять что-либо, не связанное с его честолюбием, алчностью или тягой к наслаждениям, кажется чуть ли не воплощением самого дьявола, которому дозволено все, что способно загрязнить самый источник наших представлений о чести. При этом нельзя забывать, что Людовик в высокой степени обладал язвительным остроумием, способным осмеять все, что предпринимает человек для блага других, без выгоды для себя. Таким образом, король был превосходно подготовлен к тому, чтобы играть роль бессердечного и глумливого друга.

В этой связи мне кажется, что гётевская концепция характера и мыслей Мефистофеля, духа-искусителя из своеобразной драмы «Фауст», более удачна, чем образ, созданный Байроном, и даже чем Сатана Мильтона^[3]. Два последних великих автора придали духу зла нечто такое, что возвышает и облагораживает его порочность – несгибаемое и непобедимое сопротивление самому Всевышнему, величественное презрение к страданию вместо покорности и все те привлекательные черты, которые побудили Бёрнса и других считать Сатану подлинным героем «Потерянного рая». Напротив, великий немецкий поэт представил своего духа оболщения как существо вообще совершенно бесстрастное, которое служит лишь для того, чтобы увеличивать путем искушения и уговоров общую массу морального зла. Своими соблазнами он пробуждает дремлющие страсти, которые в ином случае не помешали бы человеку, ставшему объектом махинаций духа зла, провести в спокойствии свою жизнь. Для этой цели Мефистофель, подобно Людовику XI, наделен острым, пренебрежительным и язвительным умом, которым неизменно пользуется, чтобы обесценить и унижить любой поступок, не ведущий прямо и наверняка к самовознаграждению.

Даже автору чисто развлекательных сочинений может быть дозволено стать на время серьезным, если он хочет осудить любую политику – частного или государственного характера, которая основывается на принципах Макиавелли^[4] или на поступках Людовика XI.

Жестокости, клятвопреступления, подозрительность этого государя не только не смягчались, но становились еще отвратительнее из-за грубого и унижительного суеверия, которое он выказывал при любых обстоятельствах. А его набожность в отношении святых угодников, которую он так любил выставить напоказ, покоилась на жалком убеждении, достойном разве какого-нибудь мелкого клерка, который силится скрыть или заглядить свои злоупотребления, принося щедрые дары людям, поставленным наблюдать за его поведением. Таким способом он пытается продолжать свои мошенничества, стараясь подкупить неподкупных. Как иначе

¹ Перевод Е. Танка.

можем мы относиться к тому, что Людовик произвел Деву Марию в графини и назначил ее капитаном своей гвардии... Или к его коварству, которое допускало, что только одна или две особые формы клятвы имели для него связующую силу, а все остальные – никакого значения; при этом он тщательно держал в секрете, как самую важную государственную тайну, какую именно форму клятвы он считает для себя обязательной.

С полным отсутствием совестливости или, как мы увидим, чувства нравственного долга Людовик соединял огромную прирожденную силу характера и проницательность; он проводил свою политику так тонко, если принять во внимание его эпоху, что иногда сам впадал в заблуждение, следуя ее предписаниям.

Вероятно, в любом из темных портретов можно найти и более светлые оттенки. Людовик хорошо понимал интересы Франции и усердно защищал их, покуда они совпадали с его личными интересами. Он благополучно провел страну сквозь опасный кризис войны, прозванной «войной за общее благо». В ходе ее он расторгнул и рассеял могучий и опасный союз крупнейших королевских вассалов Франции, направленный против их сюзерена; король с менее осторожным и выжидательным характером, более смелый, но не столь изворотливый, как Людовик XI, по всей вероятности, потерпел бы здесь неудачу. Были у Людовика и некоторые личные качества, не противоречившие его общественному положению. Так, например, он бывал весел и остроумен в компании. Он бывал нежен со своей жертвой, подобно кошке, которая иногда ластится, готовясь нанести опаснейшую рану. И никто не мог лучше, чем он, оправдывать и приукрашивать грубые и эгоистичные мотивы своих поступков, мотивы, которыми он старался заменять благородные побуждения, какие его предшественники черпали из высокого духа рыцарства.

Но действительно, эта система уже отживала свой век, да и в пору своего расцвета она была слишком вымученной и фантастической в своих основах, и как только, подобно другим древним обычаям, она стала утрачивать былую славу, на нее обрушились насмешки, которые теперь уже не вызывали ужаса и отвращения, как в прежние времена, когда их сочли бы кощунством. Уже в четырнадцатом веке появились хулители и насмешники, предлагавшие заменить все, что было полезного в рыцарстве, другими принципами; они высмеивали сумасбродные кастовые правила чести и нравственности, открыто называли их нелепыми, да и, по правде сказать, они действительно имели форму слишком уж возвышенную для обыкновенных смертных. Если какой-нибудь бесхитростный и отважный юноша собирался ограничиться отцовскими правилами чести, его грубо высмеивали, как если бы он вышел на бой, вооруженный добрым старым рыцарским Дуриндарт^[5], или двуручным мечом, выглядевшим нелепо из-за своей древней формы и отделки, даже если его клинок был закален на Эбро^[6], а чеканка – чистого золота.

Так были отброшены в сторону все заветы рыцарства – их заменили более низменные побуждения. Вместо высокого мужества, побуждавшего каждого быть в первых рядах при защите родины, Людовик XI прибегнул к помощи всегда готовых наемных солдат и при этом убедил своих подданных (среди них уже заметно выдвигалось торговое сословие), что лучше предоставить наемникам риск и тяготы войны, платя государству за их содержание, нежели лично подвергаться опасности, защищая свое имущество. Купцы легко согласились с такими соображениями. Правда, в дни Людовика XI еще не настало время, когда можно было бы таким же способом удалить из рядов войск помещиков и дворянство, но лукавый монарх положил начало порядку, который при его преемниках привел в конце концов к переходу всей военной мощи государства в руки короля.

Столь же оригинальным был Людовик, когда изменял правила, регулирующие отношения между обоими полами. Доктрины рыцарства устанавливали, по крайней мере в теории, такую систему: Красота является верховным и воздающим божеством, а Доблесть – ее рабыней, послушной ее взгляду, готовой отдать жизнь ради малейшей услуги. Говоря по правде,

эта система, как и в других областях, доходила до фантастических нелепостей, и нередко возникали скандальные дела. Все же они чаще всего напоминали то, о чем говорит Берк^[7], – нравственная неустойчивость наполовину искупалась отсутствием всякой грубости. Совсем по-другому получалось у самого Людовика XI. Он был низменным сладострастником, искавшим наслаждения без чувства любви и презиравшим тех женщин, у которых требовал наслаждения. Его любовницы принадлежали к низшему сословию, и их так же трудно сравнивать с возвышенной, хоть и небезупречной личностью Агнесы Сорель^[8], как и самого Людовика – с его героическим отцом, который освободил Францию от угрожавшего ей британского ига.

Точно так же, выбирая своих фаворитов и министров среди подонков, Людовик показывал, как мало уважения испытывает он к высокому положению и благородству происхождения. Это могло быть не только простительно, но даже похвально, если бы королевский указ выдвигал неизвестный талант или скромное достоинство. Но совсем иначе получалось, когда король делал своими любимыми помощниками людей вроде Тристана Отшельника^[9], начальника его Маршалси^[10], или его полиции. И было совершенно очевидно, что такой монарх не может быть «первым дворянином в своих владениях», как элегантно называл себя его потомок Франциск^[11].

Поступки и речи Людовика – интимные и общественные – были не таковы, чтобы заглядывать столь грубые нарушения порядочности. Верность слову, которая обычно считается самой священной чертой человеческого характера и малейшее нарушение которой является серьезнейшим проступком против кодекса чести, нарушалась Людовиком без зазрения совести при малейшей возможности, и это нередко сопровождалось чудовищными преступлениями. Попирая свои личные обещания, он так же бесцеремонно относился к обязательствам государственным. Так, например, отправка к английскому королю Эдуарду IV^[12] какого-то незначительного человека, переодетого герольдом, была дерзким обманом в те времена – ведь герольды считались священными носителями государственного и национального достоинства. Мало кто отважился бы на такой поступок, кроме этого беспринципного монарха.

Короче говоря, манеры, чувства и поступки Людовика XI были несовместимы с духом рыцарства, а его язвительное остроумие было слишком склонно высмеивать систему, покоящуюся на самом абсурдном, по его мнению, фундаменте, поскольку она исходила из того, что труд, талант и время должны посвящаться достижению целей, от которых, по сути дела, нельзя было ожидать личных выгод.

Весьма вероятно, что, отвергая, таким образом, почти открыто узы религии, чести и нравственности, под влиянием которых живет род человеческий, Людовик надеялся добиться значительных преимуществ в своих сношениях с другими сторонами, поскольку те считали себя морально связанными, а он пользовался свободой. Ему могло казаться, что он начинает скачку подобно наезднику, освободившемуся от «уравнительного груза»^[13], в то время как его соперники все еще обременены, и поэтому, конечно, может рассчитывать на успех. Но, должно быть, Провидение всегда соединяет наличие особой угрозы с каким-либо обстоятельством, способным насторожить тех, кто находится в опасности. Постоянное подозрение, сопровождающее каждого общественного деятеля, стяжавшего дурную славу из-за нарушения своих обязательств, оказывается для него чем-то вроде колец погремушки на хвосте ядовитой змеи. И в конце концов люди начинают считаться не с тем, что говорит их противник, а скорее с тем, что он, по-видимому, намерен свершить. Такая степень недоверия перевешивает интриги беззастенчивого деятеля, уничтожает преимущества, какие давало ему отсутствие щепетильности, свойственной людям совести. Пример Людовика XI возбудил среди других наций Европы скорее отвращение и подозрения, нежели желание ему подражать, а случаи, когда ему удавалось перехитрить немало своих современников, побудили других быть настороже. Даже и сама концепция рыцарства, хоть и не столь распространенная, как прежде, пережила царствование этого распутного монарха, так много сделавшего, чтобы запятнать ее славу, и еще долго после

смерти Людовика XI вдохновляла Рыцаря без страха и упрека^[14], а также отважного Франциска I. И наконец, хотя царствование Людовика с политической точки зрения протекало так успешно, как ему самому хотелось, но зрелище его кончины могло послужить предостережением для всех, кого соблазнял пример этого государя. Подозревая всех и каждого, а главным образом – собственного сына, он укрылся в замке Плесси, целиком доверив свою особу сомнительной преданности шотландских наемников. Он никогда не выходил из комнаты, никого не пускал к себе и утомлял Небо и всех святых молитвами – не о прощении грехов, но о продлении своей жизни. С умственным убожеством, которое так не вязалось с его острой пронизательностью в делах, он приставал к своим врачам, пока они не начали оскорблять и обирать его. В своем безграничном желании продлить жизнь он посылал в Италию за какими-то мощами и – верх странности! – приказал доставить оттуда одного невежественного, слабоумного крестьянина^[15], который (должно быть, по лености) заточил себя в пещере и отказался от мяса, рыбы, яиц и молока. Этого человека, не владевшего даже основами грамоты, Людовик почитал, как если бы он был самим Римским Папой, и, чтобы добиться его расположения, основал два монастыря!

Не менее странной чертой этого суеверия было то обстоятельство, что целью короля было исключительно телесное здоровье и земное благополучие. Было строжайше запрещено малейшее упоминание о его грехах, когда речь заходила о состоянии здоровья. И когда однажды по его приказанию священник читал молитву святому Евтропию^[16], в которой угоднику поручалось благополучие короля – «телесное и духовное», Людовик велел пропустить два последних слова, говоря, что неосторожно надоедать блаженному Евтропию многими просьбами сразу. Быть может, он думал, что, храня молчание о своих преступлениях, он дождетя, пока они исчезнут из памяти его небесных покровителей, чья помощь нужна ему для выздоровления.

Так велики были заслуженные муки этого тирана на смертном ложе, что Филипп де Комин^[17], тщательно сопоставляя его страдания со множеством жестокостей, причиненных им, высказал мнение, что угрызения совести и агония Людовика могли бы уравновесить преступления, им совершенные. И что после соответствующего пребывания в чистилище он мог быть помилован и попасть в рай.

Фенелон^[18] также оставил свидетельство против этого монарха, описав его образ жизни и правление в нижеследующем замечательном отрывке:

«Пигмалион, терзаемый ненасытной жадой обогащения, становится все несчастнее и все ненавистнее своим подданным. Иметь богатство стало в Тире преступлением: скупость делает короля недоверчивым, подозрительным и жестоким; он преследует богатых и страшится бедных.

Еще большим преступлением стало в Тире быть добродетельным, ибо Пигмалион считает, что добродетельные люди не захотят терпеть его несправедливости и жестокости; добродетель обличает его, и он взирает на нее с опасением и злобой. Все беспокоит, раздражает, терзает его; он боится собственной тени, не спит ни днем ни ночью. Чтобы погубить его, боги даруют ему сокровища, которыми он не смеет наслаждаться. Он хочет быть счастливым – и стремится именно к тому, что не может дать счастья. Он вечно жалеет о том, что отдал, вечно боится лишиться чего-нибудь и выбивается из сил, чтобы еще что-то приобрести.

Он почти не бывает на людях: одинокий, угрюмый, мрачный, он прячется где-то в глубине своего дворца; даже друзья не смеют приблизиться к нему, чтобы не навлечь на себя подозрения. Его дом окружен грозной стражей с поднятыми копьями и мечами наголо. Он сделал своим убежищем тридцать комнат, сообщающихся между собой и запирающихся каждая железной дверью с шестью большими засовами. Никто не знает, в какой из этих комнат он ночует; уверяют, что он не спит в одном и том же помещении и двух ночей подряд из боязни, что его задушат. Ему неизвестны ни пленительные удовольствия, ни еще более сладостная дружба. Когда ему советуют искать радости, он чувствует, что радость бежит от него

и отказывается войти в его сердце. Его впалые глаза горят жадным и диким огнем; он беспрестанно оглядывается по сторонам, прислушивается к малейшему шуму, вздрагивает при каждом шорохе. Он бледен, его волосы и одежда в беспорядке, тяжелая забота отражается на его постоянно нахмуренном лице. Он молчит, вздыхает, испускает из глубины сердца стоны, он не может скрыть терзающих его угрызений совести. Самые изысканные кушанья кажутся ему отвратительными.

Родные дети внушают ему не надежду, но страх: он сделал их своими опаснейшими врагами.

За всю свою жизнь он не знал ни минуты уверенности, он держится, только проливая кровь всех тех, кого боится.

Безумный! Он не видит, что жестокость, в которой он замкнулся, приведет его к гибели. Кто-нибудь из его слуг, такой же подозрительный, как и он сам, поспежит избавить мир от этого чудовища».

Поучительное, но отталкивающее зрелище страданий тирана закончилось наконец смертью 30 августа 1485 года^[19].

Выбор такой примечательной личности в качестве героя романа (ибо легко понять, что скромная любовная интрига Квентина использована всего лишь как способ развернуть повествование) предоставил автору значительные возможности.

На протяжении пятнадцатого столетия вся Европа содрогалась от распрей, вызванных столь разнообразными причинами, что потребовался бы, наверно, целый трактат, чтобы заставить здравомыслящего английского читателя поверить в возможность таких странных происшествий.

Во времена Людовика XI по всей Европе было особенно много потрясений. Гражданская война в Англии^[20] закончилась, но скорее по видимости, чем в действительности, благодаря кратковременному воцарению Йоркской династии^[21]. Швейцария утверждала свою свободу^[22], которую она впоследствии так доблестно защищала.

В Германской империи и во Франции крупные вассалы короны пытались уклониться от ее контроля, тогда как Карл Бургундский^[23] – с помощью силы, а Людовик – более тонко, косвенными путями, старались подчинить их и поставить на службу сюзеренам. Людовик, с одной стороны, обманывал и принуждал собственных мятежных вассалов, с другой же – помогал и поощрял большие торговые города Фландрии на восстание против герцога Бургундского – к этому их побуждало и накопление богатства, и самолюбивое тщеславие.

А в лесистых округах Фландрии герцог Гельдернский^[24] и Гийом де ла Марк^[25], прозванный за свою жестокость Диким Арденнским Вепрем, отбросили привычки рыцарей и джентльменов, чтобы свободнее творить насилия и жестокости, подобно обыкновенным бандитам.

Сотни секретных комбинаций осуществлялись в различных провинциях Франции и Фландрии; многочисленные личные эмиссары неутомимого Людовика – цыгане, пилигримы, нищие или агенты, соответственно переодетые, – проводили политику короля, сея недовольство во владениях Бургундии.

Среди такого изобилия исторических фактов трудно было выделить наиболее понятное и интересное для читателя. И автору приходится сожалеть, что хотя он и широко пользовался своим правом отступать от исторической действительности, он все же далеко не уверен, что ему удалось придать своему повествованию приятную, сжатую и достаточно вразумительную форму.

Главная пружина сюжета такова, что ее легко поймет всякий, кто немного знаком с феодальной системой, хотя факты здесь целиком вымышлены. Власть феодального сеньора ни в чем не встречала такого полного и всеобщего признания, как в его праве распоряжаться браками женщин-вассалов. Правда, тут можно усмотреть и некое противоречие с гражданским и церковным правом, которые провозглашают, что брак должен быть свободным, тогда

как феодальная или муниципальная юриспруденция признает (в том случае, когда лен перешел к женщине) право сеньора определять ее выбор супруга. Это объясняли, исходя из принципа, что сеньор в своей щедрости был первоначальным дарителем лена и всегда заинтересован в том, чтобы брак вассала не давал право на лен лицу, враждебному его сеньору. С другой стороны, есть основание утверждать, что правом до известной степени распоряжаться рукой женщины-вассала обладал лишь тот сеньор, который был первоначальным дарителем лена. Поэтому нет резкого неправдоподобия в том, что вассал Бургундии ищет покровительства у короля Франции, который был сюзереном самого герцога Бургундского. Нет особенной натяжки и в том, что Людовик, всегда неразборчивый в средствах, мог составить план, как завлечь беглянку в брачный союз, который мог бы оказаться неудобным или даже опасным для его грозного родственника и вассала, герцога Бургундского.

Можно добавить, что роман о Квентине Дорварде, снискавший у себя на родине большую известность, чем некоторые из предшествовавших ему романов, стяжал также немалый успех на континенте, где его исторические намеки более понятны читателям.

Эбботсфорд, 1 декабря 1831 г.

Глава I. Контраст

*Взгляните, вот портрет, и вот другой,
Искусные подобию двух братьев¹²⁶¹.*

«Гамлет»²

Вторая половина пятнадцатого столетия подготовила ряд событий, в итоге которых Франция достигла грозного могущества, с той поры не раз служившего предметом зависти для остальных европейских держав. До этой эпохи она была вынуждена отстаивать свое существование в борьбе с Англией, владевшей в то время лучшими ее провинциями, и только благодаря постоянным усилиям ее короля и беззаветной отваге народа ей удалось избежать окончательного подчинения иноземному игу. Но ей угрожала не только эта опасность. Ее могущественные вассалы, в особенности герцоги Бургундский и Бретонский, стали так пренебрежительно относиться к своим обязанностям феодалов, что при малейшем поводе готовы были восстать против своего государя и сюзерена – французского короля. В мирное время они самовластно управляли своими провинциями, при этом Бургундский дом, владевший цветущей Бургундской провинцией и лучшей, богатейшей частью Фландрии, был сам по себе настолько богат и силен, что ни в могуществе, ни в великолепии не уступал французскому двору.

Следуя примеру главнейших вассалов, каждый мелкий ленник старался отстоять свою независимость, насколько это ему позволяли расстояние от королевского двора, размеры его владений и неприступность его замков и укреплений. Все эти мелкие деспоты, не считаясь с законом и пользуясь своей безнаказанностью, зверски угнетали своих подданных и расправлялись с ними с чудовищной жестокостью. В одной Оверни насчитывалось в то время более трехсот таких независимых дворян, для которых кровосмешение, грабеж и насилие были самым обычным делом.

Кроме всех этих бед, другой, не менее страшный бич – последствия многолетних войн между Францией и Англией – терзал эту несчастную страну. Многочисленные выходцы из соседних государств, собираясь в вооруженные шайки под предводительством избранных ими смелых и ловких искателей приключений, наводняли Францию. Это продажное воинство предлагало на любой срок свои услуги тому, кто больше за них заплатит; а в тех случаях, когда на них не было спроса, воевало за собственный страх и риск, захватывая замки и крепости, которые использовались как убежища, забирая в плен людей, чтобы получать за них огромные выкупы, облагая данью беззащитные селения и прилегавшие к ним земли; словом, своим поведением они вполне оправдывали данные им прозвища *tondeurs* и *escorcheurs*, то есть обирал и живодеров.

Наряду со всеми ужасами и несчастьями, вызванными бедственным положением государства, среди мелкопоместных дворян царили безумное мотовство и роскошь, которыми они щеголяли в подражание крупным феодалам, выжимая последние соки из обнищавшего, разоренного народа.

Отношение к женщине носило романтический, рыцарский характер, часто переходивший, однако, в полную разнузданность. Язык странствующего рыцарства еще не совсем вышел из употребления, внешние его приемы и формы еще сохранились, но чувство благородной, возвышенной любви и порожденная ею рыцарская доблесть почти исчезли и не скрашивали больше вычурности его оборотов.

² Перевод М. Лозинского.

Поединки и турниры, празднества и пиры, которые устраивались каждым, даже самым маленьким, феодальным двором, привлекали толпы искателей приключений во Францию, представлявшую такое широкое поле для безрассудной отваги и предприимчивости, не находивших применения в более счастливом отечестве всех этих авантюристов.

В ту эпоху, как будто для того, чтобы спасти прекрасную Францию от грозивших ей со всех сторон бед, на шаткий престол ее возшел Людовик XI, который, несмотря на свои отталкивающие личные качества, сумел понять и до некоторой степени пресечь и парализовать зло своего времени. Так иные яды, как говорится в старинных медицинских книгах, могут обезвреживать друг друга.

Достаточно смелый, когда этого требовала выгода или политическая цель, Людовик не был романтичен по природе: в нем не было и искры той благородной рыцарской отваги, которая не столько гонится за пользой и успехом, сколько за славой и честью. Расчетливый и хитрый, он прежде всего ставил свои личные интересы и умел ради них жертвовать не только своей гордостью, но и своими страстями. Он тщательно скрывал истинные мысли, намерения и чувства даже от своих приближенных и нередко говаривал: «Кто не умеет притворяться – тот не умеет и царствовать; что касается меня, то узнай я, что моя шапка проведала мои тайны, я в ту же минуту бросил бы ее в огонь». Никто – ни до него, ни после – не умел лучше подмечать слабости ближних и пользоваться ими для своих выгод, в то же время ловко скрывая от всех собственные недостатки и слабости.

Людовик был по природе мстителен и жесток до такой степени, что бесчисленные казни, совершавшиеся по его приказанию, доставляли ему истинное удовольствие. Он не знал ни милосердия, ни пощады в тех случаях, когда мог действовать безнаказанно; но вместе с тем никакая жажда мести не могла толкнуть его на безрассудный, необдуманый поступок. Он бросался на свою жертву только тогда, когда она была в полной его власти и не могла от него ускользнуть; и действовал всегда так осторожно, ловко и скрытно, что смысл его тайных происков становился понятен окружающим лишь после того, как он добивался своей цели.

Прирожденная скупость Людовика не мешала ему, однако, быть щедрым до расточительности, когда дело шло о том, чтобы подкупить какого-нибудь фаворита или министра враждебного ему государя и этим предотвратить грозившее ему нападение или разрушить подготовляемый против него союз.

Он любил чувственные наслаждения и всякие развлечения, но даже самые сильные его страсти – женщины и охота – не могли отвлечь его от строгого исполнения взятых им на себя обязанностей – от управления государством. Он был тонким знатоком человеческой природы, потому что никогда не чуждался частной жизни людей, к какому бы слою общества они ни принадлежали. И хотя он был высокомерен и заносчив, однако не признавал произвольного деления общества на высших и низших, чем вызывал глубокое возмущение знати, и не колеблясь доверял самые высокие посты людям, которых выбирал из самых низших слоев общества; правда, людей он умел выбирать и редко ошибался.

Но цельные характеры – большая редкость, и в этом хитром и одаренном государе уживались странные противоречия. Несмотря на все свое лицемерие и лукавство, Людовик иногда слишком слепо и опрометчиво полагался на прямодушие и честность других. Подобные промахи имели, по-видимому, своим источником слишком тонкую игру, побуждавшую его иногда прикидываться и надевать личину неограниченного доверия к тем, кого он хотел обмануть; обычно же он бывал так недоверчив и подозрителен, как ни один из властителей того времени. Чтобы дополнить наш беглый набросок, укажем еще на две характерные черты этого страшного человека, сумевшего то ловкой политикой, то вовремя брошенной подачкой, то, наконец, жестокостью и крутыми мерами выдвинуться среди воинственных, суровых государей того времени и занять среди них место укротителя диких зверей, которые разорвали бы его на куски, если бы он не подчинил их своей власти.

Первая из характерных черт Людовика – это крайнее суеверие, бич, при помощи которого Провидение часто терзает людей, отказывающихся исполнять повеления религии. Людовик никогда не пытался успокоить преступную совесть, изменив хоть на волос свою макиавеллистскую политику, но тщетно старался заглушить муки раскаяния исполнением суеверных обрядов, строгим покаянием и щедрыми дарами, расточаемыми духовенству. Второй его чертой, которая, как ни странно, часто бывает неразлучна с первой, была страсть к низменным удовольствиям и тайному разгулу. Самый умный, или, во всяком случае, самый хитрый из современных ему монархов, Людовик любил низменные наслаждения. Сам человек в высшей степени остроумный, он очень ценил находчивость и остроумие в своих собеседниках, что как будто плохо вяжется с его характером. Несмотря на крайнюю недоверчивость, он с удивительным легкомыслием пускался во всевозможные сомнительные похождения и любовные интриги. Страсть его к подобным развлечениям была так велика, что дала пищу для бесчисленных игривых и скандальных анекдотов, собранных и изданных отдельной книжкой^[27], которая хорошо знакома библиофилам, в чьих глазах (ведь другие таких книг не читают) первое издание является наиболее ценным.

Итак, при посредстве этого осторожного и ловкого, но очень непривлекательного государя Провидению угодно было возратить великой французской нации те блага государственного порядка, которые она почти утратила ко времени вступления Людовика на престол. Так часто Провидение заставляет служить на пользу людям не только теплый летний дождик, но и грозную, разрушительную бурю.

До своего вступления на престол Людовик успел обнаружить больше пороков, чем достоинств. Первая его жена, Маргарита Шотландская^[28], пала жертвой клеветы придворных своего супруга; однако, если бы сам Людовик этого не поощрял, никто не осмелился бы сказать ни единого слова против доброй и несчастной государыни. Людовик был также неблагодарным и непокорным сыном: сначала он затеял тайный заговор против отца^[29], а потом поднял против него открытое восстание. За первое из этих преступлений он был удален в собственное свое владение Дофинэ, где впервые показал себя искусным правителем, за второе – был окончательно изгнан за пределы государства и принужден чуть не из милости просить убежища у герцога Бургундского и его сына; он пользовался их гостеприимством до самой смерти отца, скончавшегося в 1461 году, и отплатил им впоследствии черной неблагодарностью.

В самом начале своего царствования он едва не был свергнут с престола лигой^[30], заключенной против него сильнейшими вассалами Франции, во главе которых стоял герцог Бургундский, или, вернее, сын его – граф де Шароле. Предводители этой лиги собрали многочисленное войско, осадили Париж и под стенами столицы дали решительное сражение, исход которого чуть не погубил французскую монархию. Но, как это обыкновенно бывает, более ловкий из противников сумел присвоить себе если не славу и честь, то все выгоды, какие можно было извлечь из этого спорного сражения. Людовик, показавший редкую личную храбрость в битве при Монлери, сумел так ловко повернуть дело, что смело мог считать эту спорную битву своей победой. Он выждал время и, когда лига сложила оружие, стал так искусно сеять раздор между ее предводителями, называвшими себя Лигой всеобщего блага (хотя настоящей их целью было ниспровержение французской монархии), что лига распалась и никогда больше не возникала в прежних угрожающих размерах. С той поры Людовик, которому Англия не была больше страшна, потому что в ней самой шли в то время междоусобные войны между домами Йоркским и Ланкастерским, занялся оздоровлением своего государства: он, как искусный, но безжалостный врач, то уговорами, то огнем и мечом многие годы старался остановить распространение смертельной болезни, разъедавшей и подтачивавшей политический организм Франции. Он стремился положить предел разбою вольных вооруженных шаек и незаконному своеволию дворян, и мало-помалу, благодаря выдержке и настойчивости, ему удалось укрепить королевскую власть и если не подавить совсем, то значительно ослабить своих могущественных вас-

салов. Тем не менее французский король со всех сторон был окружен опасностями. Правда, членов Лиги всеобщего блага разъединяли раздоры, но она еще существовала и, как недобитая змея^[31], могла ожить и сделаться по-прежнему опасной. Но наибольшая опасность грозила ему со стороны герцога Бургундского, одного из могущественнейших европейских государей, возраставшую силу и значение которого ничуть не умаляла его формальная зависимость от короля Франции.

Карл, прозванный Смелым (вернее было бы назвать его Отчаянным, так как храбрость у него сочеталась с яростью и неистовством), владел в то время Бургундским герцогством и горел одним желанием: сменить свою герцогскую корону на независимый королевский венец. По характеру герцог Карл представлял полную противоположность Людовику XI.

Спокойный, рассудительный и хитрый Людовик никогда не пускался в рискованные предприятия, но зато и не отступал перед раз намеченной целью, если достижение ее было возможно хотя бы в самом отдаленном будущем. Герцог же, наоборот, очертя голову бросался в самые опасные предприятия, потому что любил опасность и не признавал никаких препятствий. Людовик никогда не жертвовал выгодой даже ради своих страстей; Карл ради выгоды не поступался не только своими страстями, но даже малейшей прихотью. Несмотря на узы близкого родства, несмотря на услуги, оказанные герцогом и его отцом Людовику, когда он был еще дофином в изгнании, они презирали и ненавидели друг друга. Герцог Бургундский презирал осторожную политику короля, приписывая природной трусости Людовика его манеру добиваться своих целей хитрыми подходами, подкупом и другими окольными путями, тогда как сам он всегда шел к своей цели с оружием в руках. Он ненавидел короля не только за его неблагодарность, за личные оскорбления и постоянную клевету, которой послы Людовика старались очернить Карла еще при жизни его отца, но больше всего за тайную помощь, которую Людовик оказывал недовольным гражданам Гента, Льежа и других больших городов Фландрии. Эти беспокойные города, крепко державшиеся своих привилегий и гордые богатством, часто открыто восставали против своих властителей, герцогов Бургундских, и всегда находили поддержку при дворе Людовика, который не упускал удобного случая посеять смуту во владениях своего могущественного вассала.

Людовик платил герцогу такой же ненавистью и презрением, но умел ловко скрывать свои чувства. Да и не мог такой глубоко проницательный человек, как Людовик, не презирать той упрямой настойчивости, с которой герцог стремился к достижению своих целей, как бы губительны ни были для него последствия его упорства, точно так же как не мог не презирать его слепой и безрассудной отваги, не признававшей ни опасностей, ни преград. Впрочем, король не столько презирал, сколько ненавидел Карла, и его злоба и ненависть становились тем сильнее, чем больший страх внушал ему этот опасный противник; Людовик хорошо понимал, что нападение бешеного быка, с которым он любил сравнивать герцога Бургундского, всегда опасно, хотя бы животное нападало с закрытыми глазами. Его страшили не только богатство и могущество Бургундии, не только многочисленность воинственного и дисциплинированного населения герцогских владений – сам герцог, по своим личным качествам, был для него опасным врагом. Храбрый до безрассудства, щедрый до расточительности, окруживший себя и свой двор роскошью и блеском, Карл Смелый привлекал к себе самых отважных, самых пылких людей того времени, которых неудержимо влекло к нему в силу сходства их характеров; и Людовик не мог не понимать, на что способны такие храбрецы под предводительством бесстрашного, неукротимого вожака.

Было и еще одно обстоятельство, усиливавшее вражду Людовика к его могущественному вассалу: герцог оказал ему некогда услугу, за которую Людовик и не подумал с ним расплатиться; он чувствовал себя в долгу перед ним, и это заставляло его не только быть сдержанным с герцогом, но иногда даже сносить вспышки его необузданного гнева и дерзости, оскор-

бительные для его королевского достоинства, причем он не мог обращаться с ним иначе, как со своим «любезным кузеном бургундским».

Около 1468 года взаимная ненависть двух великих государей достигла крайних пределов вопреки заключенному ими между собой перемирию, правда временному и очень непрочному. Начало нашего рассказа относится именно к этой эпохе. Быть может, читатель найдет, что главное действующее лицо этой повести слишком незначительно по своему общественному положению и что для его характеристики не стоило выяснять взаимоотношения таких высоких и могущественных особ; но мы позволим себе напомнить, что нередко страсти, ссоры, вражда или мирные отношения великих мира сего сильно отражаются на участи окружающих людей, и надеемся, что из последующих глав каждому станет ясно, как важно все сказанное в этой первой, вступительной главе для правильного понимания многих событий в жизни нашего героя.

Глава II. Путник

Я мир, как устрицу, мечом своим открою³].
Лейтенант Пистоль³

В одно прелестное летнее утро, в тот час, когда солнце жжет еще не слишком сильно, а освеженный росой воздух наполнен благоуханием, молодой человек, державший путь с северо-востока, подошел к броду через небольшую речку, или, вернее, широкий ручей, впадающий в Шер, близ королевского замка Плесси-ле-Тур, многочисленные мрачные башни которого возвышались вдали над обступившим его густым лесом. В этой лесистой местности находился la noble chaise, или королевский охотничий парк, обнесенный оградой, называвшейся на средневековой латыни plexitium, от чего многие французские деревни получили название Плесси. В отличие от них, замок и деревня, о которых здесь идет речь, назывались Плесси-ле-Тур, так как находились в двух милях к югу от большого красивого города Тура, столицы древней Турени, богатые равнины которой по праву назывались садом Франции.

На противоположном берегу ручья, к которому приближался путник, стояли два человека; издали казалось, что они поглощены серьезным разговором, но на самом деле они следили за каждым движением приближавшегося юноши, которого давно уже заметили, ибо находились на более высоком берегу.

Молодому путешественнику можно было дать не более девятнадцати – двадцати лет; его лицо и весь облик сразу располагали в его пользу, хотя и было видно, что он не местный житель, а чужестранец. Короткий серый камзол и штаны были скорее фламандского, чем французского покроя, а щегольская голубая шапочка, украшенная веткой остролиста и орлиным пером, была, несомненно, подлинно шотландской. Одет он был очень опрятно, с той тщательностью, с какой одевается молодость, сознающая свою красоту. За спиной у него висела дорожная сумка, по видимому содержащая самые необходимые пожитки. На левой руке была надета перчатка для соколиной охоты, хотя сокола с ним и не было; в правой руке он держал крепкую палку. С левого плеча свешивался небольшой, пунцового бархата мешочек на шитой перевязи, какие носили охотники с кормом для соколов и другими принадлежностями этой излюбленной в то время забавы. На груди его перевязь перекрещивалась ремнем, на котором сбоку висел охотничий нож. На ногах вместо сапог были башмаки из сыромятной оленьей кожи.

Хотя юноша, очевидно, не достиг еще полного расцвета сил, тем не менее он был высок и статен, а легкость его походки доказывала, что путешествие пешком было для него скорее удовольствием, чем трудом. Его белое от природы лицо было покрыто легким загаром – может, под непривычным влиянием южного солнца, а может, и от постоянного пребывания на открытом воздухе у себя на родине.

Черты его лица не отличались особой правильностью, но были очень приятны и внушали к нему доверие. Беззаботная молодая улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала два ряда зубов, ровных и белых как слоновая кость; веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно останавливавшийся на окружающих предметах, был добродушен, беспечен и в то же время полон решимости.

На поклоны и приветствия редких в то опасное время прохожих юноша отвечал соответственно достоинству каждого. Вооруженному бродяге, не то разбойнику, не то солдату, который внимательно разглядывал его, как бы взвешивая про себя, чего можно здесь ждать – богатой добычи или решительного отпора, – он отвечал таким бесстрашным и уверенным взглядом, что тот мигом оставлял злые умыслы и приветствовал его угрюмым: «Здорово, приятель!», на

³ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Ивановым.

что молодой шотландец отвечал столь же воинственным, хотя и менее суровым тоном. Пилигрима и нищенствующего монаха он встречал почтительным приветствием и получал в ответ отеческое благословение; а с молодой черноглазой крестьянкой он обменивался таким веселым поклоном, что она долго еще оборачивалась и с улыбкой смотрела ему вслед. Словом, в юноше было что-то привлекавшее внимание: смелость, прямота в соединении с жизнерадостностью, ясным взглядом и приятной внешностью невольно располагали в его пользу. По его поведению чувствовалось, что это человек, бесстрашно вступающий в жизнь, полную неведомых ему зол и опасностей, для борьбы с которыми у него только и есть оружия, что живой ум и молодая отвага – черты, вызывающие симпатии людей молодых и участие поживших и опытных.

Путник, которого мы сейчас описали, был давно замечен двумя собеседниками, остановившимися на том берегу речки, где стоял окруженный лесом замок; но когда юноша стал спускаться с крутого берега с легкостью бегущей к водопою лани, младший из собеседников сказал старшему:

– А ведь это наш цыган! Если он пустится вброд, он пропал: вода сильно прибывла, речки не перейти.

– Пусть попытается, – ответил старший, – и сам убедится в этом, куманек. Может быть, он подтвердит старую пословицу: «Кому повешену быть, тот не утонет».

– Отсюда я не могу рассмотреть лица, но узнаю его по голубой шапке, – сказал первый. – Послушайте, вот он кричит: спрашивает, глубока ли вода.

– Пусть сам попробует, – повторил старший собеседник, – в этом мире нет ничего лучше собственного опыта.

Между тем юноша, видя, что двое людей на противоположном берегу спокойно смотрят, как он готовится перейти речку вброд, и даже не отвечают на его вопрос, снял башмаки и недолго думая вошел в воду. Только в эту минуту старший из собеседников крикнул, чтоб он был осторожен, и, обратившись к своему спутнику, сказал вполголоса:

– Mortdieu⁴, куманек, опять ты дал маху – это вовсе не цыган.

Но предупреждение опоздало: то ли юноша его не расслышал, то ли не успел им воспользоваться, так как сразу попал в быстрину. Для всякого менее искусного и ловкого пловца гибель казалась неизбежна: речка была очень глубока, а течение стремительно.

– Клянусь святой Анной, он молодчина! – воскликнул старший незнакомец. – Беги-ка поскорей, приятель, да загладь свою вину: помоги ему, если можешь. Он, видно, все же достанется тебе и, если верить старой пословице, не должен утонуть.

И правда, юноша с такой силою и ловкостью боролся с волнами, что, несмотря на бурное течение, выплыл на берег почти против того места, откуда вошел в воду.

В то время как младший незнакомец бежал вниз к реке на помощь пловцу, старший не спеша следовал за ним, рассуждая сам с собой:

«Клянусь Небом, он уже вылез на берег и сразу схватился за палку! Если я не поспешу, он, чего доброго, отколотит моего приятеля за единственное доброе дело, которое тот собирался сделать за всю свою жизнь».

Он не без основания предвидел такую развязку, потому что как раз в эту минуту отважный шотландец набросился на подбежавшего к нему самаритянина^[33] с сердитым окриком:

– Ах ты, собака! Отчего ты мне не ответил, когда я тебя спрашивал, можно ли тут пройти вброд? Черт меня побери, если я не научу тебя, как надо обходиться с чужестранцами!

С этими словами юноша подбросил палку и, перехватив ее посередине, угрожающе завертел ею в воздухе. Этот прием назывался *moulinet*⁵, потому что вертящаяся палка напоминала вращение крыльев ветряной мельницы. Услышав эту угрозу, противник юноши в свою оче-

⁴ Черт возьми (*фр.*).

⁵ Мельница (*фр.*).

редь схватился за меч: он, видно, был из тех, кто предпочитает действия разговорам. Но тут подоспел старший незнакомец; он приказал ему остановиться и, обратившись к молодому шотландцу, стал упрекать его за безрассудную поспешность, с которой тот бросился в воду, и за горячность, с какой он, не разобрав дела, накинулся на человека, спешившего ему на помощь.

Выслушав это замечание от человека пожилого и по виду вполне почтенного, юноша сейчас же опустил свое оружие и ответил, что очень жалеет, если был к ним несправедлив; но и они, по его мнению, были не правы, заставив его рисковать жизнью, ни словом не предупредив об опасности. А такой поступок недостойн ни честных людей, ни добрых христиан, ни тем более уважаемых горожан, какими они кажутся.

– Ну, сынок, – сказал старший незнакомец, – по твоей внешности и выговору я догадываюсь, что ты чужестранец, и, право, ты и сам мог бы сообразить, что нам не так-то легко тебя понимать, хоть ты и бойко болтаешь на чужом языке.

– Ладно, отец, – ответил юноша. – Поверьте, мне это купание нипочем, и я охотно извиню вам, что вы были отчасти его причиной, если вы мне укажете местечко, где я мог бы обсушиться, потому что на мне единственное мое платье и мне хотелось бы сохранить его в приличном виде.

– За кого же ты нас принимаешь, мой друг? – спросил старший незнакомец вместо ответа.

– За зажиточных горожан, разумеется. За кого же еще? – ответил шотландец. – Или нет, постойте!.. Вы, сударь, должно быть, меняла или хлебный торговец, а ваш товарищ – барышник или мясник.

– Не в бровь, а прямо в глаз, – заметил с улыбкой пожилой незнакомец. – Что правда, то правда! Я действительно по мере сил занимаюсь денежными делами; да и про моего товарища ты угадал: он по профессии и впрямь сродни мяснику. Оба мы рады тебе услужить, но только скажи нам сперва, кто ты, куда и за каким делом идешь. Нынче ведь по дорогам рыщет много всяких бродяг, и пеших и конных, у которых нет ни совести, ни страха Господня.

Юноша окинул своего собеседника и его молчаливого товарища быстрым пронизательным взглядом, как бы желая убедиться, достойны ли они его доверия, и вот к чему свелись его наблюдения.

Старший и более почтенный из этих людей, выделявшийся как наружностью, так и костюмом, смахивал больше всего на купца. Его камзол, штаны и плащ из одноцветной темной материи были донельзя потертые, и сметливый шотландец сейчас же решил, что носить такую одежду мог человек либо очень богатый, либо совсем бедный, вернее – первое. Узкий покрой его слишком короткого платья не был в то время в моде ни у дворян, ни у зажиточных горожан, носивших широкие и длинные камзолы, спускавшиеся ниже колен.

В выражении лица этого человека было что-то одновременно привлекательное и отталкивающее; в его резких чертах, ввалившихся щеках и глубоко сидящих глазах сквозили лукавство и затаенный юмор, не чуждый и нашему юноше. И в то же время во взгляде этих впалых глаз, смотревших из-под густых, нависших черных бровей, было что-то зловещее и повелительное. Быть может, впечатление это усиливалось благодаря плоской меховой шапке, плотно надвинутой на лоб и еще больше оттенявшей глаза, но юношу поразили этот взгляд, плохо вязавшийся с заурядной внешностью незнакомца. Его шапка была особенно неказиста. Люди состоятельные украшали в то время свои шапки золотыми или серебряными пряжками; на его же головном уборе не было никаких украшений, кроме жалкой оловянной бляхи с изображением Божьей Матери, вроде тех, что приносит из Лорето^[34] беднейшие пилигримы.

Его товарищ, лет на десять его моложе, был человек приземистый и коренастый. Угрюмое лицо его лишь изредка озарялось злобной усмешкой; впрочем, он улыбался только в тех случаях, когда старший незнакомец обращался к нему с какими-то таинственными знаками. Он был вооружен мечом и кинжалом, а под его скромной одеждой шотландец заметил тонкую кольчугу из мелких железных колец, какие в ту полную опасностей эпоху носили не только

воины, но и мирные жители, занятия которых требовали частых отлучек из дому. Это обстоятельство еще больше убедило шотландца, что незнакомец был мясником, барышником или кем-нибудь в этом роде. Молодой чужеземец, с одного взгляда сделав наблюдения, на передачу которых мы потратили столько времени, после минутного молчания ответил с легким поклоном:

– Не знаю, с кем имею честь говорить, но, кто бы вы ни были, я не стыжусь и не боюсь сказать вам, что я шотландец, младший сын в семье и, по обычаю моих земляков, иду попытать счастья во Франции или в какой-нибудь другой стране.

– Чудесный обычай, черт возьми! Да и сам ты молодец хоть куда! В твои годы ты должен нравиться не только мужчинам, но и женщинам... Ну-с, так вот, видишь ли: я – купец, и мне нужен помощник. Что ты на это скажешь? Или, может быть, ты слишком благороден для такого низкого занятия?

– Если вы делаете мне это предложение серьезно, в чем я очень сомневаюсь, я должен вас поблагодарить и благодарю вас, сударь; но, право, я боюсь, что не сумею быть вам полезным.

– Еще бы! Ручаюсь, что ты искуснее стреляешь из лука, чем ведешь счета, а мечом владеешь лучше, чем пером. Ведь так?

– Я горец, сударь, а следовательно, стрелок, как у нас говорят, – ответил юноша. – Но мне случилось жить в монастыре, и добрые монахи научили меня читать, писать и даже считать.

– Черт возьми, это великолепно! – воскликнул купец. – Клянусь Пречистой Девой Эмбренской, ты просто чудо!

– Веселитесь, сударь, если вам это нравится, – сказал шотландец, которому насмешливый тон нового знакомого, видимо, пришелся не по вкусу. – А мне нечего тут болтать с вами, когда вода бежит с меня в три ручья. Пойду поищу, где бы обсушиться.

В ответ на эти слова купец только расхохотался.

– Черт возьми, – сказал он, – недаром, видно, пословица говорит: «Fier comme un Ecossois»!..⁶ Полно сердиться, приятель. Я знаю и люблю твою родину, потому что мне не раз приходилось иметь дело с шотландцами. Народ вы бедный, но честный... Пойдем-ка с нами в деревню; я угощу тебя славным завтраком и поднесу стаканчик доброго вина, чтобы вознаградить тебя за купание... А это еще что, черт возьми? Охотничья перчатка? Разве ты не знаешь, что соколиная охота в королевских владениях запрещена?

– Не знал, да меня вразумил негодяй лесничий герцога Бургундского, – ответил юноша. – Дело было под Перонной: только я спустил было своего сокола на цаплю, как этот негодяй уложил его на месте своей проклятой стрелой. А я-то еще так на него надеялся и нес с собой от самой Шотландии!

– Что же ты сделал ему за это? – спросил купец.

– Я избил его, – сказал юноша, потрясая своей палкой, – так избил, как только может один христианин избить другого, не уложив его на месте и не беря греха на душу.

– А знаешь ли ты, что, попадись ты в руки герцогу Бургундскому, он тут же вздернул бы тебя и ты болтался бы на дереве, как каштан?

– Как не знать! Говорят, он на эти дела так же скор, как и французский король. Но так как это случилось под самой Перонной, то я махнул через границу и был таков! Кабы он не был так горяч, я, может быть, еще поступил бы к нему на службу.

– Если перемирие будет нарушено, герцог горько пожалеет, что потерял такого молодца, – сказал насмешливо купец, бросив быстрый взгляд на своего молчаливого товарища, а тот ответил ему зловещей улыбкой, озарившей на мгновение его лицо, как промелькнувший метеор озаряет зимнее небо.

⁶ «Горд, как шотландец» (фр.).

Молодой шотландец резко остановился и, надвинув решительным жестом свою шапочку на правую бровь, сердито сказал:

– Послушайте, господа, особенно вы, сэры, старший и как будто более разумный из двоих: будьте осторожней! Я сумею вам доказать, что прохаживаться на мой счет небезопасно. Мне не нравится ваш тон. Я могу стерпеть шутку, а от старшего даже выговор и поблагодарю за него, если я его заслужил; но я не потерплю, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, когда, Бог свидетель, я чувствую в себе столько сил, что легко проучу вас обоих, если вы выведете меня из себя.

Эти слова так рассмешили старшего незнакомца, что он чуть не задохнулся от хохота, а товарищ его схватился за меч; но шотландец ловким, сильным ударом по руке заставил его в тот же миг выпустить оружие, и эта выходка еще больше развеселила старого купца.

– Стой, храбрый шотландец, стой! – закричал он. – Успокойся, хотя бы из любви к своей родине!.. Да и тебе, куманек, советую не кипятиться. Черт возьми! Люди торговые должны быть справедливыми, а его ловкий удар можно принять как расплату за холодное купание... А ты, приятель, слушай: перестань горячиться! – добавил он, обращаясь к шотландцу таким властным тоном, что тот невольно смутился. – Со мной шутки плохи, а с моего товарища хватит и того, что он получил. Как твое имя?

– На вежливый вопрос у меня всегда есть учтивый ответ, – сказал юноша, – и я готов отнестись к вам с почтением, подобающим вашему возрасту, если вы не станете выводить меня из терпения насмешками. Во Франции и во Фландрии мне дали прозвище Паж с Бархатной Сумкой – из-за мешочка, который я всегда ношу на боку. Но мое настоящее имя, данное мне на родине, – Квентин Дорвард.

– Дорвард? Это дворянское имя? – спросил незнакомец.

– Надеюсь, – ответил шотландец. – Об этом свидетельствуют пятнадцать поколений моих предков. Это-то и заставило меня избрать именно военную, а не иную профессию.

– Настоящий шотландец! Много предков, много гордости и, ручаюсь, очень мало денег в кармане!.. Послушай, куманек, – продолжал старый купец, обращаясь к своему мрачному товарищу, – ступай-ка вперед да прикажи приготовить нам завтрак в тутовой роще; я уверен, что этот молодец окажет ему такую же честь, как голодная мышь хозяйскому сыру. Что же касается цыгана... дай-ка я шепну тебе на ухо два слова...

Выслушав товарища, мрачный незнакомец ответил ему многозначительной злобещей улыбкой и удалился крупным шагом, а старый купец, обратившись к Дорварду, сказал:

– Пойдем-ка и мы помаленьку да завернем по дороге в часовню Святого Губерта^[35] и прослушаем обедню, потому что не годится заботиться о потребностях тела больше, чем о спасении души.

Как добрый католик, Дорвард ничего не мог возразить против этого предложения, хотя, по всей вероятности, ему прежде всего хотелось обсушиться и подкрепить свои силы. Между тем мрачный незнакомец скоро исчез из виду, и, следуя за ним той же дорогой, его товарищ с юношей вошли в густой лес, весь заросший мелким кустарником и перерезанный длинными и широкими просеками, по которым бродили вдалеке небольшие стада оленей, чувствовавших себя здесь, по-видимому, в полной безопасности.

– Вы спрашивали меня, хороший ли я стрелок, – сказал юный шотландец. – Дайте мне лук да пару стрел, и я ручаюсь, что у вас будет оленина на обед.

– Берегись, дружок! Советую тебе: будь осторожен. Куманек смотрит в оба за здешней дичью, на нем лежит надзор за нею; и поверь мне, он очень сердитый сторож.

– А все-таки он больше смахивает на мясника, чем на веселого лесничего, – сказал Дорвард. – Трудно проверить, чтобы человек с рожей висельника имел что-нибудь общее с благородным искусством охоты.

– Это правда, дружок: на первый взгляд физиономия у моего куманька не слишком-то привлекательна; однако никто из тех, кто сводил с ним знакомство покороче, никогда не жаловался на него.

Квентину Дорварду послышалась какая-то странная, неприятная нотка в многозначительном тоне, каким были сказаны эти слова; он быстро взглянул на говорившего и в выражении его лица, в улыбке, змеившейся на его губах, в пронизывающем взгляде его черных прищуренных глаз уловил нечто такое, что еще усилило это неприятное впечатление.

«Мне доводилось слышать о разбойниках, ловких плутах и обманщиках, – подумал он. – Может быть, тот негодяй – убийца, а этот старый плут – его правая рука и приспешник? Надо держать ухо остро... Впрочем, что с меня взять? Разве что несколько добрых шотландских тумачков!»

Пока Дорвард был занят этими размышлениями, они вышли на прогалину, на которой кое-где росли старые большие деревья. Очищенная от мелкой заросли и хвороста, она была покрыта, точно ковром, свежей густой травой, разросшейся в тени деревьев, защищавших ее от лучей палящего южного солнца, и такой пышной и нежной, какая редко встречается во Франции. Кругом росли вековые буки и вязы, высоко возносившие к синему небу свои гигантские зеленые купола. Среди этих могучих детей природы, на самом открытом месте, недалеко от быстрого ручья, стояла небольшая часовня простой, даже грубой архитектуры. Рядом лепилась убогая келья – жилище отшельника, исполнявшего при часовне обязанности священнослужителя. В небольшой нише над сводчатой дверью часовни виднелась маленькая статуя святого Губерта с охотничьим рогом через плечо и с двумя борзыми собаками у ног. Одинокая часовня, окруженная густым лесом, полным дичи, была посвящена покровителю охоты, святому Губерту⁷.

Незнакомец в сопровождении Дорварда направился прямо к часовне. В ту минуту, когда они подходили к ней, из кельи вышел отшельник в священническом облачении и тоже направился к часовне, очевидно чтобы служить обедню. При его приближении Дорвард в знак почтения к его сану отвесил низкий поклон; спутник же его с видом глубочайшей набожности преклонил колени и, приняв благословение святого отца, смиренно последовал за ним медленным шагом человека, полного благоговения.

Внутреннее убранство часовни говорило о трудах и занятиях святого Губерта в его земной жизни. Все стены были увешаны ценными мехами всевозможных зверей, на каких охотятся в различных странах; из таких же мехов была и завеса у алтаря. Стенную живопись заменяли охотничьи рога, колчаны и самострелы, развешанные вперемешку с головами оленей, волков и других зверей; словом, все убранство носило вполне охотничий характер. Самую службу тоже можно было назвать «охотничьей обедней», так как она была сокращена и ее служили перед началом охоты на скорую руку, в угоду знатым господам, которые нетерпеливо ждали конца, чтобы предаться своей излюбленной забаве.

Во время этой коротенькой службы спутник Дорварда был, казалось, всецело поглощен молитвой; сам же Дорвард, не особенно занятый религиозными мыслями, не переставал упрекать себя за то, что осмелился оскорбить низкими подозрениями такого хорошего и смирен-

⁷ В Средние века каждое занятие имело покровителем какого-нибудь святого. Охота с ее опасностями, служившая для многих главным занятием, а для всех остальных постоянной забавой, находилась под покровительством святого Губерта. Этот святой был сыном Бертрана, герцога Аквитанского, и придворным короля Пипина*. Он страстно любил охоту и ради этого развлечения даже пренебрегал посещением церковных служб. Однажды, когда он предавался этой забаве, перед ним появился олень с распятием между рогами, и он услышал какой-то голос, который угрожал ему вечной карой, если он не раскается в своих грехах. Он отошел от мирской жизни и принял сан, а его жена также удалилась в монастырь. Впоследствии Губерт стал епископом Маастрихта и Льежа. За усердие, с которым он уничтожал остатки идолопоклонства, он был прозван апостолом Арденн и Брабанта. Считалось, что его потомки обладали умением излечивать людей, укушенных бешеной собакой. (Примеч. Авт.)* Речь идет о Пипине (ок. 635 – ок. 714), родоначальнике Каролингской династии и правителе объединенного франкского государства.

ного человека. Он не только не считал его теперь другом и сообщником разбойников, но готов был признать в нем почти святого.

Когда обедня кончилась, они вместе вышли из часовни, и, обратившись к Дорварду, старший сказал:

– Теперь нам два шага до деревни, и ты с чистой совестью можешь наконец разрешить свой пост. Ступай за мной!

Свернув направо на тропинку, которая отлого поднималась в гору, он посоветовал своему спутнику быть поосторожнее и ни в коем случае не сходить с тропинки, а стараться идти, держась ее середины. Дорвард не утерпел и спросил о причине такой предосторожности.

– Видишь ли, молодой человек, мы теперь находимся в королевских владениях, – ответил его провожатый, – и ходить здесь, черт возьми, совсем не то, что бродить в ваших диких горах. Здесь каждая пядь земли, за исключением тропинки, по которой мы идем, грозит опасностями и почти непроходима, потому что на каждом шагу расставлены ловушки и западни^[36] с острыми ножами или секачами, которые так же ловко отрезают ноги неосторожному путнику, как кривой нож садовника – ветви боярышника; здесь есть такие капканы, что как раз пригвоздят тебя к земле; есть и волчьи ямы, такие глубокие, что могут заживо схоронить тебя. Словом, мы в самом сердце королевских владений и сейчас увидим замок.

– Будь я королем Франции, – сказал юноша, – я не стал бы окружать себя ни ловушками, ни капканами, а постарался бы так управлять своим государством, чтобы никто не осмелился приблизиться ко мне с дурным умыслом. Тем же, кто приходил бы в мои владения с миром и дружбой, я был бы всегда рад, потому что, по-моему, чем больше друзей, тем лучше.

Спутник Дорварда оглянулся кругом с притворным испугом:

– Тише, тише, господин Паж с Бархатной Сумкой! Я и забыл тебя предупредить о самой большой опасности, подстерегающей тебя в здешних местах: у каждого листочка в этом лесу есть уши и каждое слово будет передано королю.

– Что за беда! – ответил Квентин Дорвард. – Недаром же я шотландец: я всегда смело скажу, что думаю, даже в глаза королю Людовику, храни его Господь! Что же касается ушей, о которых вы говорите, – хотел бы я их видеть, чтоб отрезать моим охотничьим ножом!

Глава III. Замок

*Высокий замок впереди встает
С железными решетками ворот,
Которые вторжению врагов
Дадут отпор. Внизу – глубокий ров,
И медленно вокруг течет поток,
А в башне стражника мерцает огонек.*

Неизвестный автор^[37]

Продолжая разговаривать, Дорвард и его новый знакомый приблизились к замку Плесси-ле-Тур, который теперь весь открылся их взорам. Даже в ту полную опасностей эпоху, когда все знатные люди принуждены были жить под защитой надежных укреплений, охрана замка отличалась особенной строгостью.

От опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись из чащи, остановились, чтоб поглядеть на замок, и до самых его стен расстилалась покатаая к лесу, совершенно открытая площадь, на которой не было ни кустика, ни деревца – ничего, кроме единственного и наполовину засохшего векового громадного дуба. Эта площадь, согласно правилам обороны всех времен, была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог спрятаться или приблизиться к замку, не замеченным с высоты его укрепленных стен.

Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными башнями по всей ее длине и по углам. Вторая стена была немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй, так что с внутренних стен можно было оборонять наружные, если бы неприятель завладел ими. Француз пояснил своему юному спутнику, что вокруг первой стены идет ров в двадцать футов глубиной (они не могли его видеть, потому что стояли в ложбине, ниже основания стен), наполнявшийся при помощи шлюзов водой из Шера, или, вернее, из его притока. Точно такие же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного ряда рвов были обнесены частоколом из толстых железных прутьев, расщепленных на концах в острые зубья, которые торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно неприступными: попытка перелезть через них была бы равносильна самоубийству.

В центре этого тройного кольца стен стоял самый замок, представлявший собой тесную группу зданий, построенных в различные эпохи и окружавших древнейшую из этих построек – старинную мрачную башню, возвышавшуюся над замком, точно черный эфиопский великан. Узенькие бойницы, пробитые там и сям вместо окон в толстых стенах башни для ее защиты, вызывали то же неприятное чувство, какое мы испытываем, глядя на слепца. Остальные постройки также мало походили на благоустроенное, удобное жилье: все их окна выходили на глухой внутренний двор, так что по своему внешнему виду замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец. Царствовавший в то время король еще усиливал это сходство тем, что все вновь возводимые здания приказывал строить так, чтобы их нельзя было отличить от старых, не желая обнаруживать сделанные им новые укрепления (как все подозрительные люди, он тщательно скрывал свою подозрительность). Для этой цели на постройки употребляли кирпич и камень самых темных оттенков, а в цемент примешивали сажу, так что, несмотря на новейшие пристройки, дворец носил отпечаток глубокой древности.

В эту неприступную твердыню вел единственный вход – по крайней мере, так показалось Дорварду, когда он разглядывал фасад замка, – то были ворота, пробитые в первой наружной стене, с обязательными в то время двумя высокими башнями по бокам, с опускавшейся решеткой и подъемным мостом; решетка была спущена, а мост поднят. Такие же точно ворота

с башнями были видны и в двух внутренних стенах. Но все трое ворот не приходились друг против друга, потому что были расположены не по прямой линии; таким образом, их нельзя было пройти все насквозь, и, вступив в первые ворота, приходилось идти между двумя стенами ярдов тридцать в сторону, чтобы попасть во вторые. И вздумай забраться сюда неприятель – он очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него с обеих стен. Та же участь ждала бы его, если бы ему удалось прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того, чтобы проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было миновать два опасных узких прохода, обстреливаемых с двух сторон, и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно оберегаемыми воротами.

Дорвард родился в стране, которая не меньше Франции страдала и от внешних войн, и от междоусобиц, в стране гористой, изрезанной вдоль и поперек пропастями и бурными потоками, представлявшими прекрасные естественные укрепления, и он был хорошо знаком с различными способами, при помощи которых люди в то суровое время старались обезопасить свои жилища; но он откровенно сознался своему спутнику, что никогда не представлял себе, как много может сделать искусство там, где природа сделала так мало. Действительно, как мы уже сказали, замок стоял почти на равнине, если не считать небольшого склона, который от стен его незаметно спускался к опушке леса.

Желая окончательно поразить Дорварда, его спутник сообщил ему, что все окрестности замка, за исключением единственной тропинки, по которой он его вел, точно так же как и лес, были усеяны ловушками, западнями и капканами, грозившими смертью тому несчастному, кто осмелился бы проникнуть сюда без провожатого; вдоль стен, по его словам, тянулся целый ряд железных сторожек, так называемых ласточкиных гнезд, где в полной безопасности сидели регулярно сменяемые часовые и откуда они могли незаметно прицелиться в каждого, кто отважился бы подойти к замку, не подав условного сигнала и не зная ежедневно менявшегося пароля; охрану замка, сказал незнакомец, день и ночь несли стрелки королевской гвардии, получавшие от короля Людовика за свою службу большое жалованье и богатую одежду, не считая почета и других милостей.

– Ну-с, а теперь, молодой человек, – продолжал он, – скажи-ка мне: случалось ли тебе когда-нибудь видеть такую сильную крепость и считаешь ли ты, что ее можно взять приступом?

Дорвард давно уже, не спуская глаз, рассматривал замок, который так сильно заинтересовал его, что в порыве юношеского любопытства он забыл и думать о своем промокшем платье. При этом вопросе глаза его сверкнули отвагой и лицо ярко вспыхнуло, точно он обдумывал про себя смелый подвиг; наконец он ответил:

– Спору нет, крепость сильная, почти неприступная, но для храбрецов нет ничего невозможного.

– И на твоей родине, конечно, водятся такие храбрецы? – спросил его спутник презрительным тоном.

– Утверждать не берусь, – ответил юноша, – знаю только, что у меня на родине найдутся тысячи людей, готовых на смелый подвиг за правое дело.

– Еще бы! – воскликнул незнакомец. – Может быть, и ты из их числа?

– Не хочу хвастать без надобности, – ответил Дорвард. – Но мой отец славился храбростью, а я не какой-нибудь бастард, я родной и законный его сын!

– Что ж, – заметил незнакомец с улыбкой, – в таком случае тебе здесь есть с кем помериться силами. Королевская гвардия Людовика, охраняющая эти стены, вся состоит из твоих соотечественников – шотландских стрелков. В ней числится триста человек дворян из благороднейших домов твоей родины.

– Так будь я на месте короля Людовика, – подхватил с живостью юноша, – я возложил бы свою охрану только на этих шотландцев! Я снес бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих пэров и рыцарей и зажил бы в свое удовольствие, ломая копья на

блестящих турнирах, задавая пиры своим приближенным и танцуя ночи напролет с красивыми женщинами! А о своих врагах думал бы не больше, чем о какой-нибудь мухе.

Спутник Дорварда опять улыбнулся и, сказав, что они подошли слишком близко к замку, повернул назад и направился к лесу, но уже не прежней тропинкой, а другой, более широкой тропой.

– Эта дорога ведет в деревню Плесси, где ты можешь найти удобное и недорогое пристанище, – пояснил незнакомец. – Милях в двух отсюда лежит красивый город Тур, по имени которого называется и все это богатое и цветущее графство. Но мне кажется, что тебе будет гораздо лучше остановиться не в городе, а в деревне Плесси, или Плесси при парке, как ее называют благодаря ее соседству с королевским охотничьим парком.

– Спасибо вам, сударь, за добрый совет, но я не думаю долго здесь оставаться, и, если только в деревне Плесси – будь то Плесси при парке или Плесси у пруда – мне посчастливится найти кусок говядины да стаканчик чего-нибудь повкуснее воды, все мои дела с нею на этом и закончатся.

– Вот как! А мне почему-то казалось, что у тебя здесь есть друзья, – сказал его спутник.

– Это верно, у меня есть здесь родственник, брат моей матери, – ответил Дорвард. – В былое время в своем родном графстве он слыл молодцом и красавцем.

– А как его зовут? – спросил незнакомец. – Я мог бы о нем справиться, потому что, видишь ли... тебе не совсем безопасно самому являться в замок, где тебя могут принять за шпиона.

– Меня – за шпиона! – воскликнул Дорвард. – Клянусь Богом, славно бы я отделал всякого, кто осмелился бы меня так назвать! Что касается дяди, у меня нет причин скрывать его имя. Его зовут Лесли; это честное и благородное имя.

– Нисколько не сомневаюсь, но дело в том, что в шотландской гвардии трое носят эту фамилию.

– Дядю зовут Людовик Лесли, – сказал юноша.

– Но из троих Лесли двое Людовики.

– Моего дядю прозвали Людовик со Шрамом, – сказал Дорвард. – В Шотландии так часто встречаются одинаковые имена и фамилии, что людям безземельным, которых нельзя отличать по названиям их поместий, дают обыкновенно какую-нибудь кличку.

– То есть не кличку, а *nomme de guerre*⁸, хочешь ты сказать. Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь... Должно быть, о Людовике Меченом, как его у нас прозвали за его шрам... Он честный малый и добрый солдат. Мне бы очень хотелось устроить ваше свидание, но, видишь ли, это не так-то легко, потому что порядок у королевских гвардейцев строгий и они редко выходят из замка, кроме тех случаев, когда сопровождают самого короля. Но прежде, милый друг, ответь мне на один вопрос. Бьюсь об заклад, что ты хочешь поступить под начальство своего дяди в шотландскую гвардию? Если я угадал, то это очень смелый план при твоей молодости: подобная служба требует большого опыта.

– Может быть, раньше я и помышлял о чем-нибудь в этом роде, – ответил беспечно Дорвард, – но теперь у меня пропала всякая охота.

– Что так, любезный? – спросил француз, и в голосе его послышалась строгая нотка. – Почему ты так свысока отзываешься о службе, на которую стремятся попасть благороднейшие и знатнейшие из твоих соотечественников?

– И пусть стремятся на здоровье, – ответил спокойно Дорвард. – Откровенно говоря, я был бы не прочь поступить на службу к французскому королю; но только, как он там меня роскошно ни корми и ни одевай, хоть всего озолоти, я не променяю своей свободы на его железные клетки, на «ласточкины гнезда», как вы зовете вон те проклятые каменные перечницы. Да и

⁸ Военное прозвище (*фр.*).

кроме того, – добавил Дорвард, понижая голос, – мне, сказать по правде, не особенно хочется жить в замке, вблизи которого растут дубы с такими «желудями», как, например, вон тот.

– Я, кажется, понял тебя, – сказал француз, – но все-таки выскажись ясней.

– Извольте, могу и ясней. Вон там, на выстрел от замка, стоит прекрасный старый дуб, – сказал Дорвард, – а на нем висит человек в точно таком же сером камзоле, какой на мне. Теперь ясно?

– А ведь и правда! Вот что значит молодые глаза, черт возьми! – заметил француз. – Я и сам вижу что-то меж ветвей, да только подумал, что это ворона. Впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Лето перейдет в осень, лунные ночи станут длинней, а дороги опасней, и ты увидишь на этом дубе не один, а десяток и два таких «желудей». Что за важность? Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя, милый друг, вот и все.

– Будь я королем Людовиком, я запретил бы вешать их так близко от своего замка, – сказал юноша. – У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где часто собираются живые вороны, но никак не в садах и не на голубятнях. Этот ужасный трупный запах... фу, гадость! Он даже сюда доходит.

– Поживи-ка на свете да сделайся преданным, верным слугой своего государя, и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага, предателя или изменника, – заметил француз.

– Упаси бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или любое из пяти чувств, – сказал шотландец. – Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом или предателем – и вот вам моя рука и мой меч; но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые пережили бы смерть... Однако вот мы добрались и до деревни. Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили мне аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу, и чем скорее, тем лучше... Кстати, прежде чем я воспользуюсь вашим гостеприимством, позвольте узнать ваше имя.

– Меня зовут дядюшка Пьер. За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом.

– Ну что ж, пусть будет дядюшка Пьер, – сказал Дорвард. – Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами.

Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показались церковная колокольня и деревянное распятие, говорившие о близости селения. В эту минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но, вместо того чтобы идти по ней, дядюшка Пьер свернул в сторону, сказав своему товарищу, что гостиница, в которую они направляются и где останавливаются все порядочные люди, находится поодаль от деревни.

– Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек, – ответил шотландец, – то я не из их числа и скорее согласен встретиться с грабителем на большой дороге, чем где-нибудь в трактире.

– Однако, черт побери, какой вы, шотландцы, расчетливый народ! Не чета англичанам: те очертя голову врываются в трактиры, пьют и едят все, что есть лучшего, а о цене спрашивают только тогда, когда хорошенько набьют живот. Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин, – ведь твое имя Квентин? – что за мной завтрак, которым я должен расквитаться с тобой за хорошую ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность.

– И правда, я ведь совсем забыл и о купании, и о вашей провинности, и об обещанной расплате, – сказал добродушно Дорвард. – Забыл потому, что платье на мне почти высохло на ходу. Тем не менее я не откажусь от вашего любезного предложения, так как вчера обед у меня был очень легкий, а ужина и вовсе не было... А вы мне кажетесь человеком таким почтенным, что я решительно не вижу причины отказываться.

Француз незаметно улыбнулся. Он прекрасно видел, с каким трудом молодой шотландец, несмотря на то, что умирает с голоду, мирится с мыслью поесть на чужой счет, и отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он старается успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность и принять это небольшое одолжение.

Между тем они прошли узкую аллею рослых вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело в замке, где Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого большого и неуклюжего здания красовался щит с изображением королевской лилии. Ни во дворе, ни в доме, ни в прилегающих к нему службах не было заметно оживления и суеты, которые в те годы, когда и частные дома, и общественные здания были полны слуг, указывали бы на обилие постояльцев и процветание дела. Казалось, суровый, мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место, предназначенное, по тогдашним обычаям, для шумных сборищ с обильной выпивкой и хорошим угощением.

Миновав главный вход и ни с кем не заговаривая, дядюшка Пьер поднял щекотку одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в камине и стоял стол, накрытый для обильного завтрака.

– Мой куманек обо всем подумал, ничего не забыл, – сказал он, обращаясь к Дорварду. – Ты, наверно, продрог – вот тебе огонь, обсушись и погрейся; ты голоден – сейчас тебе будет и завтрак.

Он свистнул, и в дверях показался хозяин гостиницы, ответивший на его приветствие низким поклоном и ничем не обнаруживший болтливости, столь свойственной французским трактирщикам всех времен.

– Я посылаю сюда джентльмена и велел заказать завтрак... Исполнено ли мое поручение?

Хозяин ответил новым безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда прекрасного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем этот завтрак, как читатель увидит из следующей главы, стоил похвал, на которые обыкновенно так щедры болтливые французские трактирщики.

Глава IV. Завтрак

*Святые Небеса! Какие челюсти!
И что за хлеб!*

«Путешествия Йорика»^[38]

Итак, на долю нашего юного чужестранца выпала такая удача, какой он еще не видывал с минуты вступления на землю древней Галлии.

Завтрак, как мы уже сказали в конце предыдущей главы, удался на славу. Был тут и знаменитый перигорский пирог, за который истинный любитель охотно положил бы свою жизнь, как те гомеровские герои, которые, отведав лотоса, забывали и родину, и близких^[39], и свои общественные обязанности. Его аппетитно подрумяненная корка вздымалась подобно крепостной стене вокруг богатого города, поставленной, чтобы охранять его несметные сокровища. Было тут и сочное рагу с чесночной приправой, любимое кушанье гасконцев, которое, однако, признают и шотландцы. Был великолепный окорок, еще недавно составлявший часть благородного вепря из соседнего Монришарского леса. Белые круглые булочки с румяной коркой были сами по себе так вкусны, что могли показаться лакомством, если бы даже их пришлось запивать простой водой. Но на столе кроме воды красовалась еще кожаная фляга почтенных размеров, так называемый «сапожок», вмещавший около кварты превосходного вина. Такое обилие вкусных блюд способно было и в мертвом возбудить аппетит. Поэтому легко себе представить, какое действие они произвели на здорового двадцатилетнего молодца, который (уж если говорить правду) два последних дня питался только случайно попадавшимися ему по дороге недозрелыми плодами да небольшим куском ячменного хлеба. Теперь он первым делом набросился на рагу и живо очистил все блюдо; потом смело атаковал величественный пирог и, не теряя времени, врезался в самую его середину. Запивая каждую солидную порцию стаканчиком доброго вина, он несколько раз возобновлял свои нападения на блюдо с пирогом, к изумлению трактирщика и к удовольствию дядюшки Пьера.

Этот последний (должно быть, от радости, что ему удалось нечаянно сделать доброе дело), казалось, от души восхищался аппетитом шотландца; заметив, что рвение его молодого друга стало наконец ослабевать, он приказал подать варенье, печенье и всевозможные тонкие лакомства, чтобы возбудить его угасающий аппетит. Пока Дорвард насыщался, лицо наблюдавшего за ним дядюшки Пьера приняло добродушное и даже благосклонное выражение, мало отвечавшее его обычно насмешливому и суровому виду. Люди пожилые всегда готовы сочувствовать радостям молодой жизни, если только зависть или бесплодное соперничество не нарушают их душевного равновесия.

Как ни был Квентин Дорвард поглощен своим приятным занятием, он не мог не заметить, что лицо его нового знакомого, показавшееся ему вначале таким отталкивающим, теперь, под влиянием выпитого вина, стало казаться гораздо более привлекательным. Поэтому он обратился к дядюшке Пьеру и самым дружеским тоном стал упрекать его, что тот все время посмеивался над его аппетитом, а сам ни до чего не дотронулся.

– Я исполняю епитимью, – отвечал дядюшка Пьер, – и до самого полудня не могу есть ничего, кроме засахаренных фруктов и стакана воды... Скажи, кстати, той особе наверху, – добавил он, обращаясь к хозяйину гостиницы, – чтоб она принесла мне закусить.

Хозяин вышел, а дядюшка Пьер продолжал:

– Ну, как же по-твоему, сдержал я свое обещание накормить тебя завтраком?

– Я в первый раз так славно поел с тех пор, как покинул Глен-хулакин, – отвечал юноша.

– Глен?.. Как ты сказал? Повтори-ка! Уж не собираешься ли ты вызвать дьявола своими колдовскими словами?

– Глен-хулакин – название нашего старинного родового поместья, сударь, – добродушно ответил Дорвард, – и в переводе на ваш язык означает «Долина мошек». Но если вам нравится потешаться над этим названием – смейтесь сколько угодно: вы ведь купили себе это право.

– У меня и в мыслях не было тебя обидеть, – сказал дядюшка Пьер. – Я просто хотел бы объяснить, раз мой завтрак тебе понравился, что шотландские стрелки королевской гвардии всякий день завтракают так же, если не лучше.

– Это меня не удивляет, – заметил Дорвард. – Воображаю, какой у них разыгрывается аппетит после ночи, проведенной взаперти в этих «ласточкиных гнездах»!

– Зато они и удовлетворяют его с избытком, – сказал дядюшка Пьер. – Им не приходится, подобно бургундцам, выбирать между голой спиной и пустым желудком. Они одеваются как вельможи, а едят как аббаты.

– Тем лучше для них, – заметил Дорвард.

– Но почему бы тебе самому не стать в их ряды, молодой человек? Я уверен, что твой дядя мог бы легко тебя устроить на первое освободившееся место. Да и я сам, сказать по правде, имею кое-какие связи и мог бы быть тебе полезен. Надеюсь, ты ездешь верхом не хуже, чем стреляешь из лука?

– Никто из Дорвардов не уступит любому наезднику, когда-либо ставившему кованый башмак в стальное стремя. Ваше любезное предложение, конечно, очень соблазнительно: пища и одежда – вещи, необходимые в жизни; но люди с моим характером мечтают, видите ли, о почестях, о славе и о военных подвигах. Ваш же король Людовик – да хранит его Господь, ведь он друг и союзник Шотландии! – заперся в своем замке, на коня садится только затем, чтоб переехать из одной крепости в другую, а города и целые провинции приобретает не славными битвами, но переговорами да союзами. Ну и пусть... Только я придерживаюсь мнения Дугласов^[40], которые всегда предпочитали открытое поле, потому что больше любили пение жаворонков, чем писк мышей.

– Не следует так дерзко судить о действиях государей, молодой человек! – строго заметил дядюшка Пьер. – Людовик не хочет зря проливать кровь своих подданных, но он не трус. Он доказал это в битве при Монлери.

– Да, но ведь с тех пор прошло двенадцать лет, если не больше, – ответил юноша. – Нет, я охотнее служил бы государю, слава которого была бы так же блестяща, как его щит, и который был бы всегда первым на поле боя.

– Почему же ты не остался в Брюсселе у герцога Бургундского? У него, по крайней мере, ты бы каждый день имел случай переломать себе кости, а если бы ты не сумел им воспользоваться, то герцог и сам позаботился бы об этом, особенно если б узнал, что ты отколотил его лесника.

– Это правда. Что ж, видно, не судьба; этот путь навсегда закрыт для меня, – сказал Квентин.

– Впрочем, на свете много одержимых, у которых молодые безумцы всегда найдут себе дело, – продолжал дядюшка Пьер. – Что ты скажешь, например, о Гийоме де ла Марке?

– Как! Об Арденнском Бородатом Вепре? – воскликнул Дорвард. – Об этом атамане грабителей и убийц, готовых ужокошить первого встречного, чтобы завладеть его плащом, убивающих безоружных священников и пилигримов так спокойно, как если б это были воины и стрелки? Нет, служить ему – значило бы навеки запятнать герб моего отца!

– Ну ладно, ладно, горячка, – сказал дядюшка Пьер. – Если уж ты так щепетилен, отчего бы тебе не попытать счастья у молодого герцога Гельдернского?

– Вы бы еще сказали – у самого черта! – воскликнул Дорвард. – И как только земля его носит, когда его ждут не дождутся в преисподней! Ведь говорят, он держит в тюрьме своего родного отца... и, верите ли, будто он даже осмелился поднять на него руку...

Наивный ужас, с которым молодой шотландец отзывался о сыновней неблагодарности герцога Гельдернского, казалось, немного смутил его собеседника.

– Ты еще, видно, не знаешь, юнец, как мало значат узы крови у знатных людей, – ответил он и, поспешно переходя из чувствительного тона в шуточный, добавил: – Впрочем, если даже допустить, что герцог ударил отца, то отец, я ручаюсь, столько раз колотил его в детстве, что они только свели старые счета.

– Как вы можете так говорить! – воскликнул шотландец, вспыхнув от негодования. – Стыдно, сударь, в ваши лета позволять себе подобные шутки! Если даже старый герцог и бил своего сына, так, значит, мало бил, потому что лучше бы этому сыну умереть под розгами, чем оставаться жить к стыду всего христианского мира!

– Строго же ты, как я посмотрю, судишь государей и военачальников! По-моему, лучшее, что ты можешь сделать, – это поскорее стать самому полководцем: где уж такому мудрецу найти себе достойного вождя!

– Вы смеетесь надо мной, дядюшка Пьер, – ответил юноша добродушно. – Может быть, вы и правы. Однако вы не назвали мне еще одного храброго предводителя, у которого под командой превосходное войско и кому можно служить с честью.

– Я не понимаю, о ком ты говоришь.

– Да о том, кто, подобно гробу Магомета – да будет проклят этот лжепророк! – находится меж двух магнитов^[41], о том, кого нельзя причислить ни к французам, ни к бургундцам и кто, ловко удерживая равновесие между ними, сумел внушить страх двум великим государям и, несмотря на все их могущество, заставил служить себе.

– И все-таки я не могу взять в толк, о ком ты говоришь, – проговорил задумчиво дядюшка Пьер.

– Да о ком же, как не о благородном Людовике Люксембургском^[42], графе де Сен-Поль, великом коннетабле Франции, который во главе небольшого войска сумел удержать свои владения и теперь так же высоко держит голову, как и сам король Людовик или герцог Карл! О ком же, как не о графе, который, словно мальчик в игре, твердо стоит на середине доски, тогда как два других качаются, стоя на ее концах!⁹

– Зато падение грозит ему гораздо большей опасностью, чем двум другим, – заметил дядюшка Пьер. – Но послушай, мой друг... Ты считаешь грабеж таким страшным преступлением, а известно ли тебе, что твой тонкий политик граф де Сен-Поль первый подал пример, совершая грабежи и поджоги в завоеванных провинциях, и что до совершенных им постыдных опустошений воевавшие стороны всегда щадили сдавшиеся без сопротивления или беззащитные города и селения?

– Если так, то, клянусь честью, я начинаю думать, что все эти знатные господа стоят друг друга и что выбирать между ними – все равно что выбирать дерево, на котором тебя должны повесить! Но, видите ли, этот граф де Сен-Поль, коннетабль, владеет городом, который носит имя моего покровителя, святого Квентина¹⁰ (здесь шотландец перекрестился), и мне сдается, что, живи я в этом городе, мой святой, может быть, и обратил бы на меня свое милостивое

⁹ В тот период Людовику XI доставляли много затруднений интриги Людовика Люксембургского, графа де Сен-Поля. Добиваясь независимости, граф интриговал одновременно против Англии, Франции и Бургундии, и, как это часто случается с людьми, ведущими вероломную политику, Сен-Поль, пожалованный Людовиком XI в 1465 г. званием коннетабля, кончил тем, что вооружил против себя своих могущественных соседей, каждому из которых по очереди изменял. Наконец герцог Бургундский выдал его французскому королю; его судили и быстро казнили за измену в декабре 1475 г. (Примеч. авт.)

¹⁰ То обстоятельство, что коннетабль владел городом Сен-Кантенем, дало ему возможность вести свои сложные политические интриги, за которые он впоследствии так дорого заплатил. (Примеч. авт.)

внимание, потому что не так уж много носящих это имя, и у него досуга больше, чем у других ваших святых с известными именами. А теперь он и думать забыл о бедном Квентине Дорварде, своем духовном сыне, иначе не оставил бы его на целый день без пищи и на следующее утро не предоставил бы его покровительству святого Юлиана и случайной любезности чужестранца, купленной ценою холодного купания в вашем знаменитом Шере или в одном из его притоков.

– Не богохульствуй, приятель, и никогда не делай святых предметом шутки! – строго сказал дядюшка Пьер. – Святой Юлиан – надежный покровитель всех странников, а святой Квентин сделал для тебя, быть может, больше, чем ты полагаешь.

Пока он говорил, дверь открылась и в комнату вошла девушка лет шестнадцати. Она несла покрытый узорчатой салфеткой поднос, на котором стояли небольшое блюдо с черносливом, которым всегда славился город Тур, и изящный серебряный кубок чеканной работы – произведение мастеров того же города, затмевавших в этом тонком искусстве мастеров не только других городов Франции, но даже и других стран. Дорвард невольно загляделся на прекрасный кубок, не думая о том, серебряный он или оловянный, как и та кружка, из которой он пил и которая была так хорошо отполирована, что казалась серебряной.

Однако, случайно взглянув на прислуживавшую юную девушку, он сейчас же сосредоточил на ней все свое внимание.

Его сразу поразило ее прелестное личико, обрамленное густыми черными волосами, заплетенными в мелкие косы и перевитыми гирляндой простого плюща, как носили шотландские девушки. Правильные черты, темные глаза и задумчивое выражение придавали ей сходство с Мельпоменой, а вспыхивавший по временам на лице ее слабый румянец и беглая улыбка, порхавшая вокруг ее губ и мелькавшая во взгляде, позволяли предполагать, что ей не чуждо веселье, хотя, может быть, она и нечасто бывает в веселом настроении. Квентину почудилось, что какое-то затаенное горе накладывает на это красивое юное лицо несвойственный молодости отпечаток серьезности; а так как юноша с романтическим воображением всегда скор на заключения, то он тут же решил, что жизнь прелестной незнакомки связана с какой-то тайной.

– Это еще что? Что это значит, Жаклина? – сказал дядюшка Пьер, едва девушка успела войти. – Разве я не приказал, чтобы завтрак мне принесла госпожа Перетта? Черт возьми! Или она слишком хороша, чтобы служить мне?

– Тетушка не совсем здорова, – ответила Жаклина торопливо, но почтительно. – Ей нездоровится, и она не выходит из своей комнаты.

– Если она не выходит, то надеюсь, что она никого и не принимает, – сказал дядюшка Пьер, выразительно подчеркивая слова. – Я *vieux routier*¹¹, и меня притворными болезнями не проведешь.

Жаклина побледнела и задрожала, потому что, надо правду сказать, в тоне и во взгляде дядюшки Пьера, всегда суровом и насмешливом, было что-то зловещее и подавляющее, когда он загорался гневом или подозрением. Этого было достаточно, чтобы в Квентине тотчас же проснулась рыцарская любезность горца. Он поспешил подойти к Жаклине и взял из ее рук поднос, который она покорно ему отдала, не спуская робкого, тревожного взгляда с рассерженного старика. Трудно было устоять перед этим трогательным, молившим о пощаде взглядом – и дядюшка Пьер смягчился и заговорил не только с меньшим недовольством, но так приветливо, как только был способен:

– Я не сержусь на тебя, Жаклина, ты еще слишком молода, чтобы быть вероломной и лживой, какой, к сожалению, ты станешь со временем, как вся ваша непостоянная порода.

¹¹ Стреляный воробей (*фр.*).

Каждый, кто хоть сколько-нибудь пожил на свете, не может не согласиться со мной¹². Вот и господин шотландский рыцарь скажет тебе то же.

Жаклина, как бы повинуюсь дядюшке Пьеру, взглянула на молодого шотландца; но, как ни мимолетен был ее взгляд, Дорварду показалось, что он молил о помощи и сочувствии. Поддавшись молодому порыву и следуя с детства привитой привычке к рыцарскому преклонению перед женщиной, Квентин поспешил ответить, что он готов бросить перчатку любому человеку одного с ним звания и возраста, который осмелится утверждать, будто за такой прелестной внешностью может скрываться злое и порочное сердце.

Молодая девушка побледнела как смерть и бросила испуганный взгляд на дядюшку Пьера, на лице которого выходка молодого человека вызвала только презрительную улыбку. Между тем Квентин, который частенько рубил сплеча, прежде чем успевал обдумать свои слова, спохватился и вспыхнул при мысли, что его ответ мог быть принят за желание поломаться перед мирным и безобидным стариком. Поняв свой промах, молодой человек решил в наказание себе спокойно вытерпеть смешное положение, в которое попал по заслугам. Покраснев еще больше, он смиренно подал дядюшке Пьеру поднос с кубком, стараясь улыбкой прикрыть свое замешательство.

– Ты просто еще молод и глуп, – сказал ему дядюшка Пьер, – и так же плохо знаешь женщин, как и государей, о которых судишь вкривь и вкось, тогда как сердца их (тут он набожно перекрестился) – в руках Божьих.

– А в чьих же руках, по-вашему, сердца женщин? – спросил Квентин, стараясь не поддаваться невольному уважению, которое внушал ему этот странный человек, и стыдясь признать его превосходство, ибо тот подавлял его своим небрежно-высокомерным обращением.

– Ну, уж об этом потрудись справиться у кого-нибудь другого, – невозмутимо ответил дядюшка Пьер.

Этот новый отпор, однако, не очень смутил Квентина. «Ведь не в благодарность же за такое пустое одолжение, как завтрак, хоть он и был очень хорош, я против воли чувствую уважение к этому турецкому горожанину! – подумал юноша. – Можно приручить сокола или собаку, накормив их, но для того, чтобы привязать к себе человека и заслужить его благодарность, надо еще иметь доброе сердце. Нет, в этом старике есть что-то необыкновенное... А эта девушка, промелькнувшая чудным видением, не может быть простой служанкой. Она чужая здесь, в этой захудалой гостинице... И этот богатый торговец ей тоже чужой, хотя он и имеет над ней какую-то власть, как, впрочем, и над всеми, кто случайно приближается к нему. Это удивительно, как много значения фламандцы и французы придают богатству... Взять хотя бы этого купца: я уверен, что уважение, которое я оказываю его летам, он приписывает своему туго набитому кошельку. Это я-то, шотландский дворянин старинного рода, стану унижаться перед каким-то турецким торговцем!»

Эти мысли быстро мелькали в голове Дорварда, в то время как дядюшка Пьер, поглаживая Жаклину по головке, говорил ей с улыбкой:

– Этот юноша сделает для меня все, что надо... Ты можешь идти, Жаклина. А уж твоей легкомысленной тетке я непременно скажу, чтобы она в другой раз не подвергала тебя понапрасну любопытным взглядам...

– Но ведь она прислала меня только затем, чтобы прислуживать вам, – сказала девушка. – Я надеюсь, что вы не станете гневаться на тетушку за то, что...

– Черт возьми! – перебил ее дядюшка Пьер, не особенно, впрочем, сердито. – Ты, кажется, намерена со мной спорить, малютка? Или, может быть, тебе хочется подольше полю-

¹² Одной из отличительных черт далеко не симпатичного характера Людовика, и притом чуть ли не самой неприятной чертой, было его презрение как к умственным способностям, так и к нравственным качествам представительниц прекрасного пола. (Примеч. Авт.)

боваться на этого молодца? Ступай... Будь покойна: он дворянин, и мне не зазорно принимать от него услуги.

Жаклина исчезла. Ушедшая девушка заняла все внимание Дорварда, прервав на время нить его мыслей, так что, когда дядюшка Пьер, небрежно развалясь в просторном кресле, сказал ему тоном человека, привыкшего повелевать: «Поддай мне поднос», – Дорвард машинально повиновался.

Купец сидел нахмурившись, так что его пронизывающих глаз почти не было видно. Только изредка его острый взгляд сверкал из-под черных нависших бровей, точно яркий луч солнца, прорвавшийся из-за темных туч.

– Прелестная девушка, не правда ли? – сказал он наконец, подняв голову и устремив на Квентина твердый, пристальный взгляд. – Слишком хороша, чтобы быть служанкой в трактире! Она, конечно, могла бы украсить дом любого честного горожанина, да только невоспитанна и низкого рода.

Бывает часто, что одно случайно брошенное слово разрушает построенный нами прекрасный воздушный замок, и нельзя сказать, чтобы мы всегда были благодарны за это слово, хотя бы оно было сказано и без злого умысла. Слова старика смутили Дорварда, и он, сам не зная почему, готов был рассердиться на него за сообщение, что эта прелестная девушка – простая трактирная служанка, как о том свидетельствовали и ее занятия. В лучшем случае она племянница или родственница трактирщика, но все-таки не более чем служанка, обязанная прислуживать посетителям, подчиняться их приказаниям, подлаживаться к их настроениям и угождать им, как она сейчас угождала дядюшке Пьеру, который был не без причуд и, по видимому, достаточно богат, чтобы требовать исполнения своих прихотей.

Уже не раз Дорварду приходило в голову, что следовало бы дать понять купцу разницу в их общественном положении и заставить его почувствовать, что при всем своем богатстве он не может быть ровней Дорварду из Глен-хулакина. Но странно: всякий раз, как молодой человек поднимал глаза на дядюшку Пьера, он замечал в нем, несмотря на его потупленный взгляд, худое лицо и жалкое, поношенное платье, что-то необычное, удерживавшее его от намерения дать почувствовать купцу свое превосходство. Чем больше, чем внимательнее всматривался в него Дорвард, тем сильнее охватывало его желание узнать, что он за человек, и ему казалось, что старик был по крайней мере синдиком или, возможно, членом магистрата города Тура – во всяком случае, человеком, привыкшим пользоваться уважением и требовать его.

Между тем купец о чем-то глубоко задумался. Очнувшись, он набожно перекрестился, потом съел несколько сушеных слив, закусил сухариком и сделал знак Квентину подать ему кубок. Когда молодой человек исполнил его приказание, он сказал:

– Ты, кажется, говорил мне, что ты дворянин?

– Без всякого сомнения, дворянин, если только для этого достаточно насчитывать пятнадцать поколений предков, как я уже говорил вам, – отвечал шотландец. – Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь, дядюшка Пьер: мне с детства внушали, что младшие должны угождать старшим.

– Прекрасное правило, – заметил невозмутимо купец, принимая кубок из его рук. И он не спеша наполнил его водой из серебряного кувшина, не обнаруживая при этом ни малейшего угрызения совести за свою бесцеремонность, как, может быть, ожидал Квентин.

«Однако, черт возьми, что за развязный купчишка! – подумал юноша. – Заставляет прислуживать себе шотландского дворянина, точно это какой-нибудь мальчуган из Глена».

Между тем купец осушил кубок и сказал:

– Судя по тому, с каким рвением ты давеча приправлял свою пищу вином, я не думаю, чтоб ты пожелал выпить со мной за компанию чистой воды. Впрочем, я знаю способ превратить простую ключевую воду в самое тонкое вино.

С этими словами он вытащил из-за пазухи объемистый кошелек из кожи морской выдры и наполнил кубок больше чем до половины мелкой серебряной монетой. Кубок, правда, был не особенно велик.

– Итак, молодой человек, помни, что у тебя гораздо больше оснований быть признательным твоему покровителю святому Квентину и блаженному Юлиану, чем ты до сих пор полагал, – сказал дядюшка Пьер. – Советую тебе раздать во имя их милостыню. Оставайся здесь, пока не повидеешься с Меченым: после полудня он сменится с дежурства. А у меня дело в замке – вот я кстати и передам ему, что ты его ждешь.

Квентин мысленно подыскивал, в каких бы выражениях повежливее отказаться от щедрого подарка, но дядюшка Пьер сердито насупил брови, выпрямился и, закинув голову с видом гордого достоинства, добавил повелительным тоном:

– Без возражений, молодой человек! Делай, что тебе приказано.

С этими словами он вышел из комнаты, сделав Квентину знак, чтобы тот его не провожал.

Молодой шотландец был ошеломлен. Он терялся в догадках и не знал, что ему думать. Первым его движением (самым естественным, хотя, может быть, и не самым благородным) было заглянуть в кубок. Он был почти полон мелкими серебряными монетами. Денег было так много, что Квентин во всю свою жизнь, наверно, ни разу не имел и двадцатой доли такой суммы. Но мог ли он, не унижая своего дворянского достоинства, принять подарок от богатого горожанина? Это был трудный вопрос, ибо, хотя Квентину и удалось плотно позавтракать, ему, однако, не на что было добраться ни до Дижона (если бы, рискуя навлечь на себя гнев герцога Бургундского, он все-таки решился поступить к нему на службу), ни тем более до Сен-Кантена (если бы выбор его остановился на коннетабле де Сен-Поле). Дело в том, что у молодого шотландца было твердое намерение поступить на службу либо к французскому королю, либо к кому-нибудь из этих двух государей. Окончательное решение этого вопроса он собирался предоставить дяде, и в его положении это было самое разумное, что он мог придумать. А пока что он спрятал деньги в свою бархатную сумочку и позвал хозяина гостиницы, чтобы отдать ему серебряный кубок, а кстати и порасспросить об этом загадочном, таком щедром и в то же время надменном купце.

Хозяин скоро явился и оказался на этот раз если и не очень общительным, то, во всяком случае, не таким скупым на слова, как раньше. Он наотрез отказался взять кубок, так как, сказал он, кубок не его, а дядюшки Пьера, и тот, надо думать, подарил его своему гостю. Правда, у него тоже есть четыре серебряных кубка, доставшихся ему по наследству от его покойной бабушки, но они так же похожи на эту изящную вещь, как репа на персик, потому что, видите ли, это турецкий кубок работы Мартина Доминика, художника, равного которому не найти и в Париже.

– А кто же этот дядюшка Пьер, делающий такие щедрые подарки чужестранцам? – перебил его Дорвард.

– Кто таков дядюшка Пьер? – повторил хозяин с расстановкой, точно процеживая каждое слово.

– Ну да, дядюшка Пьер! Кто он и с какой стати швыряется такими дорогими подарками? – переспросил Дорвард нетерпеливо и настойчиво. – И кто тот, другой, похожий на мясника молодчик, которого он посылал сюда заказывать завтрак?

– Клянусь честью, сударь, вы бы лучше справились у самого дядюшки Пьера, кто он таков. Что же касается человека, заказавшего завтрак, то да хранит вас Бог от близкого с ним знакомства!

– Здесь кроется какая-то тайна. Этот дядюшка Пьер сказал мне, что он купец.

– Если сказал, значит, купец и есть, – ответил хозяин.

– Какого же рода торговлю ведет он?

– Как вам сказать... Всякую, сударь: есть у него здесь и шелковые мануфактуры, изделия которых поспорят даже с теми тканями, что венецианцы привозят из Индии и Китая. Может быть, по дороге сюда вы заметили тутовую рошу? Ее посадили по приказу дядюшки Пьера для его шелковичных червей.

– Ну а молодая девушка, которая приносила ему завтрак, кто она, мой друг? – спросил юноша.

– Моя жилища, сударь. Она живет со своей опекуншей – теткой или другой родственницей, этого уж я вам доподлинно сказать не могу, – ответил хозяин.

– А разве у вас принято, чтобы постояльцы прислуживали друг другу? – спросил Дорвард. – Я заметил, что этот дядюшка Пьер не пожелал, чтобы ему прислуживали ни вы, ни ваши люди.

– Богатый человек может иметь свои причуды, сударь, потому что у него есть чем за них заплатить, – сказал хозяин. – Эта девушка не первая и не последняя. Дядюшка Пьер умеет заставить прислуживать себе кое-кого и познатнее.

Молодого шотландца покорило от этого намека; однако он затаил досаду и спросил хозяина, нельзя ли отвести ему комнату на день, а может быть, и на более продолжительный срок.

– Разумеется, сударь, – ответил хозяин, – и на столько времени, на сколько прикажете.

– А нельзя ли мне засвидетельствовать почтение моим будущим соседкам, вашим жилищам? – спросил Дорвард.

Хозяин замаялся. Этого он не знает, потому что, «видите ли, дамы сами никуда не выходят и у себя никого не принимают».

– За исключением дядюшки Пьера, надо думать? – осведомился Дорвард.

– Не знаю, да и не имею права вмешиваться в чужие дела, – последовал почтительный, но твердый ответ.

Квентин высоко ставил свое дворянское достоинство, хотя у него и не хватало средств с честью поддерживать его; поэтому ответ хозяина задел его за живое, и он решил немедленно придать себе весу в его глазах, показав, что знаком с принятым в то время обычаем вежливости.

– Ступайте, – сказал он хозяину, – передайте дамам мой низжайший поклон вместе с этой фляжкой и скажите им, что Квентин Дорвард из Глен-хулакина, шотландский дворянин и их сосед, просит разрешения лично засвидетельствовать им свое почтение.

Хозяин вышел, но очень скоро вернулся и сказал, что дамы благодарят шотландского кавалера и извиняются перед ним, так как не могут принять ни любезно предлагаемого им угощения, ни, к сожалению, его самого, ибо они вообще никого не принимают.

Квентин закусил губу и выпил залпом стакан отвергнутого вина, поставленного хозяином возле него на столе. «Клянусь мессой, удивительная страна! – подумал он. – Купцы важничают и сорят деньгами, словно какие-нибудь вельможи, а путешествующие девицы, останавливающиеся в трактирах, держат себя так, точно они переодетые принцессы! Ну, да уж будь что будет, а я непременно увижу эту чернобровую красавицу!» И, приняв это утешительное решение, он попросил хозяина указать ему его комнату.

Хозяин провел его по витой лестнице наверх, в длинный коридор, куда выходил целый ряд дверей, словно в монастыре; это сходство пришлось не особенно по душе Квентину, в памяти которого еще было свежо воспоминание о скучных днях, недавно проведенных им в стенах монастыря. Хозяин остановился в самом конце коридора и, выбрав ключ из связки, висевшей у него на поясе, отпер дверь и ввел Дорварда в комнату, помещавшуюся в небольшой башенке; комната была, правда, очень мала, но зато опрятна и расположена в стороне от других; в ней стояли небольшая кровать и чистенькая мебель, расставленная в полном порядке. Дорварду она показалась настоящим дворцом.

– Надеюсь, сударь, что вам понравится ваше помещение, – сказал хозяин. – Я считаю своей обязанностью угождать гостям дядюшки Пьера.

– И все это благодаря моему счастливому купанию! – с восторгом воскликнул Квентин Дорвард, как только хозяин вышел из комнаты, и даже подпрыгнул от удовольствия. – Никогда еще удача не была такой желанной, хоть она и явилась ко мне в мокром платье! Судьба положительно засыпала меня своими дарами!

С этими словами он подошел к единственному окну в своей комнате. Башенка выступала вперед за линию фасада, и из ее окна был виден не только красивый, довольно большой сад, принадлежавший гостинице, но и примыкавшая к нему тутовая роща, которую, как говорили, дядюшка Пьер насадил для своих шелковичных червей. Кроме того, если смотреть из окна не вперед, а вдоль фасада, на другом конце здания была видна другая такая же башенка с точно таким же окном, как в комнате Дорварда. Человеку лет на двадцать постарше трудно было бы понять, почему это окно заинтересовало юношу больше, чем красивый сад и тутовая роща. Увы, глаза человека лет за сорок равнодушно смотрят на маленькое полуоткрытое для прохлады окно, наполовину завешанное шторой, даже когда это окно слегка защищено ставней от палящих лучей солнца (а может быть, и от нескромных взглядов) и даже тогда, когда на оконнице висит прикрытая легким зеленым шарфом лютня. Но в счастливом возрасте Дорварда такой необыкновенный случай, как непременно сказал бы поэт, является уже достаточным основанием для тысячи воздушных замков и таинственных догадок, при воспоминании о которых человек зрелых лет только улыбается и вздыхает, вздыхает и улыбается.

Можно допустить, что нашему другу Квентину очень хотелось узнать кое-что о своей прекрасной соседке, обладательнице лютни и шарфа; можно даже предположить, что ему захотелось знать, не та ли эта молодая особа, которая с такой скромностью прислуживала дядюшке Пьеру; поэтому неудивительно, что он не стал открыто показывать в окно свое любопытное лицо. Дорвард был опытный птицелов: притаившись у окна, он стал наблюдать сквозь решетчатую ставню и скоро имел счастье увидеть, как прелестная белая ручка протянулась и сняла висевшую на оконнице лютню. Еще минута – и его слух также получил награду за эту хитрую уловку.

Незнакомка из башни – обладательница лютни и шарфа – запела одну из тех старинных песенок, какие певали во времена рыцарства прелестные дамы своим воздыхателям – рыцарям и трубадурам. Слова этих песен не отличались ни умом, ни глубоким чувством, ни полетом фантазии и не могли заставить забыть о музыке, под которую они пелись, так же как и музыка не отличалась глубиной, способной отвлечь внимание от слов: они лишь дополняли друг друга. Ни музыка без слов, ни слова без музыки ничего не стоили, и мы, быть может, поступаем неправильно, приводя здесь слова песенки, которые не предназначались ни для чтения, ни для декламации, а исключительно для пения. Но старинная поэзия всегда имела для нас какую-то неотразимую прелесть, а так как мелодия песенки навсегда утрачена (разве что Бишопу^[43] удастся ее разыскать либо воспроизвести, или мисс Стивенс^[44] научится у жаворонка щебетать ее для нас), то мы приводим целиком ее простые слова, хотя и рискуем уронить в глазах читателя и себя, и прелестную обладательницу лютни.

О рыцарь мой! Все скрыто тьмой,
Миг встречи недалек,
И в час желанный благоуханный
Повеял ветерок.
Покой везде. В своем гнезде
Умолк певец дневной.
Я знаю, это – любви примета,
Но где же рыцарь мой?

Пастух поет. К нему идет
Любимая тайком.
Поет ночами о знатной даме
Влюбленный под окном.
Звезда любви! Лучи твои
Над небом и землей.
Ты все светила огнем затмила,
Но где же рыцарь мой?

Что бы ни думал читатель об этой песенке, она была очень трогательно спета, а нежный голос, сливавшийся с легким ветерком, приносящим в окно благоухание сада, произвел на Квентина чарующее впечатление; лица певицы почти не было видно, и это еще усиливало ее таинственное обаяние.

Песня смолкла. Дорвард, горевший нетерпением разглядеть певицу, сделал неосторожное движение. Звуки лютни разом оборвались, окно захлопнулось, темная штора опустилась, и наблюдениям любопытного соседа был положен конец.

Дорварда глубоко огорчило и удивило это неожиданное последствие его неосторожности, но он утешал себя надеждой, что Дева Лютни не может надолго отречься от своей лютни, которой она владела с таким совершенством, и не захочет быть столь жестокой, чтобы навсегда отказаться от удовольствия открыть окно и подышать чистым воздухом из одного желания лишить соседа своей чудесной музыки. Быть может, к этим утешительным мыслям примешивалась и некоторая доля тщеславия. Если в башенке напротив, как Дорвард сильно подозревал, обитала красавица с длинными черными косами, то в другой башенке – это он знал наверняка – жил молодой белокурый рыцарь, которого он считал и статным, и красивым, и смелым. А из романов – этих умудренных опытом наставников юношества – он знал, что ни робость, ни застенчивость не мешают молоденьким девушкам быть любопытными и интересоваться соседями и их делами.

В то время как Квентин углубился в эти размышления, в комнату вошел слуга и доложил, что его желает видеть какой-то рыцарь.

Глава V. Воин

*Проклятый полон он. Как леопард, космат,
В жерле орудия он ищет славу тщетно.*

«Как вам это понравится»^[45]

Рыцарь, ожидавший Квентина Дорварда в той комнате, где он недавно завтракал, был одним из тех людей, о которых Людовик XI любил говорить, что они держат в своих руках судьбу Франции; им была вверена защита и охрана его королевской особы.

Знаменитый отряд стрелков^[46] так называемой шотландской гвардии был учрежден Карлом VI, у которого были уважительные причины окружать свой престол чужими, наемными войсками. Постоянные смуты, лишившие Карла VI более чем половины Франции, и сомнительная преданность еще служившего ему дворянства привели к тому, что довериться своим подданным в таком деле, как личная охрана, было бы со стороны короля большой неосторожностью. Шотландцы, наследственные враги Англии, были старинными и, можно даже сказать, естественными друзьями и союзниками Франции. Народ бедный, но храбрый и верный, шотландцы благодаря своей многочисленности легко пополняли убывающие ряды своих воинов, и поэтому ни одна страна в Европе не поставляла столько смелых искателей приключений, как Шотландия. Знатность происхождения большинства шотландских дворян давала им право стоять ближе к особе государя, чем представителям других войск, а их относительная малочисленность не позволяла им поднять бунт и из слуг превратиться в господ.

Помимо этого, и сами французские государи, как правило, старались упрочить преданность этих отборных чужеземных отрядов, оказывая им всякие почести и платя большие деньги, которые те тратили со свойственной воинам расточительностью, стараясь с честью поддерживать свое высокое положение. Все шотландские стрелки пользовались дворянскими привилегиями, а близость к королю возвышала их в собственных глазах и поднимала их значение в глазах французов. Они были превосходно одеты и вооружены, у каждого была прекрасная лошадь, каждый имел право и возможность держать оруженосца, пажа, слугу и двух телохранителей. Один из телохранителей назывался «coutelier» – от большого ножа¹³, которым он был вооружен, чтобы приканчивать врагов, сраженных в битве его начальником. Окруженные блестящей свитой, шотландские стрелки считались людьми знатными и с большим весом, а так как освобождавшиеся места в их отрядах пополнялись обыкновенно теми, кто уже служил у них в качестве пажа или оруженосца, то и на эти должности часто стремились попасть (под начальство родственника или друга) младшие члены знатных шотландских фамилий в надежде на быстрое повышение.

В телохранителях служили не дворяне; они набирались из людей более низкого происхождения и рассчитывать на повышение не могли, но им тоже выдавали прекрасное жалованье, и начальники, вербуя их, могли выбирать самых храбрых и сильных из своих же соотечественников, наводнявших в то время Францию.

Людовик Лесли, – или, как мы теперь чаще будем его называть, Людовик Меченый, потому что во Франции его больше знали под этим именем, – был здоровый, коренастый человек футов шести ростом, с суровым лицом; огромный шрам, шедший ото лба через правый уцелевший глаз и пересекавший обезображенную щеку до самого основания уха, придавал его лицу жестокое выражение. Этот ужасный шрам – то красный, то багровый, то синий, то почти

¹³ Нож по-французски «couteau».

черный, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик Меченый: волновался или сердился, кипел страстью или был спокоен, – сразу бросался в глаза, резко выделяясь на его обветренном, покрытом темным загаром лице.

Он был богато одет и прекрасно вооружен. Голову его прикрывала национальная шотландская шапочка, украшенная пучком перьев, прикрепленных серебряной пряжкой с изображением Богоматери. Эти пряжки были пожалованы шотландской гвардии самим королем, который в один из припадков суеверной набожности посвятил Пресвятой Деве мечи своей гвардии; некоторые историки утверждают даже, что он пошел дальше и возвел Богоматерь в звание шефа своих стрелков. Нашейник его лат, налокотники и нагрудники были из превосходной стали, искусно выложенной серебром, а его кольчуга сверкала, как иней ярким морозным утром на папоротнике или вереске. На нем был широкий камзол из дорогого голубого бархата с разрезами по бокам, как у герольдов, и с вышитыми серебром на спине и на груди андреевскими крестами. Наколенники и набедренники были из чешуйчатой стали; кованые стальные сапоги защищали ноги; на правом боку висел крепкий широкий кинжал (называвшийся «Милость Божья»), а на левом, на богато расшитой перевязи, висел тяжелый двуручный меч. Впрочем, в ту минуту, когда Дорвард увидел Людовика Меченого, тот, сняв для удобства громоздкий меч, держал его в руках, так как правила службы строго запрещали ему с ним расставаться.

Хотя Дорвард, как и каждый шотландец той эпохи, был с детства знаком и с войной, и с военными доспехами, тем не менее он должен был признать, что никогда еще не видел такого мужественного и так хорошо вооруженного воина, как брат его матери, Людовик Лесли, по прозвищу Меченый. Однако он невольно отступил перед таким свирепым с виду дядей, когда тот пожелал его обнять и, царапая ему щеки своими щетинистыми усами, поздравил с благополучным прибытием во Францию, после чего стал расспрашивать, какие новости племянник привез из Шотландии.

– Мало хорошего, дядюшка, – ответил Дорвард. – Но как я рад, что вы меня так скоро узнали!

– Я бы, кажется, узнал тебя, мальчуган, даже если б встретил на бордоских ландах и если б ты, как журавль, разгуливал на ходулях...¹⁴ Однако садись, садись, дружок! И если у тебя только печальные вести, мы поскорее запьем их добрым винцом... Эй, старый кремень, почтенный хозяин! Подай нам вина, да самого лучшего... живо!

Французская речь с шотландским акцентом так же часто слышалась в те времена в тавернах подле Плесси, как в наши дни французский язык с швейцарским акцентом^[47] – в парижских кабаках. Хозяин повиновался с такой поспешностью, какую может вызвать только страх, и в один миг бутылка шампанского очутилась на столе. Дядюшка выпил полный стакан, племянник только пригубил, чтобы не обидеть любезно угощавшего его родственника. Он извинился, сказав, что уже немало выпил сегодня.

– Это было бы прекрасным извинением в устах твоей сестры, милый племянник, – сказал Меченый, – тебе же не пристало бояться бутылки, если только ты хочешь носить бороду и намерен сделаться воином... Однако что же это ты, братец! Высыпай-ка свои шотландские новости... Что слышно в Глен-хулакине? Что подельывает моя сестра?

– Она умерла, дядюшка, – печально ответил Квентин.

– Умерла? – воскликнул Меченый, и в его тоне слышалось больше удивления, чем огорчения. – Но ведь она была на целых пять лет моложе меня, а я еще никогда, кажется, не был здоровее, чем теперь... Умерла, говоришь? Удивительно! А я так вот ни разу даже не болел –

¹⁴ Костыли, или ходули, употреблялись в Шотландии для переправы вброд через реки. Крестьяне близ Бордо также пользовались ими для ходьбы по окрестным песчаным равнинам, так называемым ландам. (Примеч. авт.)

разве только голова иной раз трещит с похмелья после дружеской попойки... Так сестра, бедняжка, умерла! Ну а отец твой, дружок, конечно, женился?

Но, прежде чем Дорвард успел ответить, дядя, вообразив по изумленному выражению его лица, что угадал ответ, быстро продолжал:

– Как, неужели еще не женился? Я готов был поклясться, что Аллан Дорвард не может обойтись без жены. Он любил порядок в доме и, хоть всегда был человеком строгих правил, иной раз поглядывал на хорошеньких женщин. В браке он нашел бы и то и другое. Я ему не чета: за таким счастьем не гонюсь и преспокойно могу смотреть на хорошенькую женщину, не смущаясь мыслью о браке. Я не такой святой.

– Но, милый дядюшка, ведь мать моя овдовела больше чем за год до своей смерти, еще во время разгрома Глен-хулакина! Отец, два дяди, два старших брата, семеро других наших родственников, наш управляющий, менестрель и шестеро слуг были убиты, защищая замок от нападения Огилви, и теперь в Глен-хулакине не осталось камня на камне.

– Да это, что называется, настоящий разгром, клянусь крестом святого Андрея! Эти Огилви всегда были опасными соседями для Глен-хулакина. Какое несчастье! Впрочем, на то и война, братец, на то и война! Когда же стряслась эта беда, милый племянник?

Задав этот вопрос, Людовик Лесли залпом опорожнил большой стакан вина и горестно покачал головой в ответ на сообщение племянника, что вся его семья была перебита в прошлом году, в день Святого Иуды^[48].

– Вот видишь! – воскликнул старый воин. – Недаром я сказал: чья возьмет! Представь себе, что в этот же самый день я с двадцатью товарищами атаковал замок Черный Утес, принадлежавший Амори Железной Руке, вождю вольных стрелков, о котором ты, вероятно, слышал. Я раскроил ему голову на пороге его собственного дома и добыл столько золота, что из него вышла вот эта цепь, которая прежде была вдвое длиннее... Кстати, это навело меня на мысль употребить часть ее на богоугодное дело... Эндрю, эй, Эндрю!

На зов в комнату вошел его телохранитель, одетый в форму шотландских стрелков, то есть почти так же, как и его начальник, но без набедренников и в панцире куда более грубой работы; на его шапочке не было перьев, и камзол был не бархатный, а суконный. Сняв с шеи толстую золотую цепь, Меченый оторвал от нее своими крепкими зубами кусок дюйма в четыре длиной и отдал его слуге.

– Снеси это в монастырь Святого Мартина, моему приятелю – веселому отцу Бонифацию, – сказал он. – Кланяйся ему от меня, передай, что я велел ему сказать: «Да благословит вас Бог!» – он никак не мог этого выговорить, когда расставался со мной в последний раз ночью, – и скажи, что у меня умерли брат, сестра и еще несколько родственников и что я прошу его помолиться в церкви за упокой их душ столько раз, сколько он найдет возможным за этот обрывок цепи. Если же этого окажется мало, чтобы спасти их души из чистилища, пусть еще помолится в долг. Прибавь, что родственники мои были все люди честные, не еретики, так что и без наших молитв могут скоро освободиться, а может быть, уже и освободились; в таком случае пусть отец Бонифаций хоть часть этого золота употребит на то, чтобы предать анафеме весь род по имени Огилви из графства Ангюс. Да попроси от меня святого отца не поскучиться на самые сильные проклятия, какие только есть у нашей церкви. Слышишь, Эндрю? Понял ты меня?

Слуга кивнул головой.

– Да смотри, брат, берегись, если хоть одно звено этой цепочки вместо рук монаха попадет в кабак! Я так отделаю тебя плетью, что на тебе останется не больше кожи, чем на святом Варфоломее...^[49] Постой, брат, я вижу, что ты заришься на эту бутылку... На вот, выпей и отправляйся.

С этими словами он наполнил стакан до краев и подал его слуге, а тот залпом выпил вино и пошел исполнять приказание своего господина.

– Ну, племянник, рассказывай теперь, какой жребий выпал на твою долю в этой злосчастной схватке.

– Я дрался, не отставая от тех, кто был старше и сильнее меня, пока все они не были перебиты, а я сам не потерял сознания от полученной страшной раны.

– Однако не страшнее той, которую получил я десять лет назад, – сказал Людовик Меченый. – Взгляни-ка, племянник: я думаю, ни один Огилви никогда не проводил мечом такой глубокой борозды! – И он указывал на шрам, обезобразивший его лицо.

– В моей семье, однако, Огилви провели слишком глубокую борозду, – печально заметил Квентин. – Но наконец они утомились резней, и матушке, заметившей во мне признаки жизни, удалось упротить их пощадить хоть меня. Одному ученому монаху из Абербротока^[50], который случайно был у нас в замке в тот роковой день и сам едва не погиб во время нападения, разрешили перевязать мою рану и перенести меня в более безопасное место. Но за это разрешение они принудили и его и матушку дать обещание, что я пойду в монахи.

– В монахи! – воскликнул Лесли. – Клянусь Небом, ничего подобного никогда не случилось со мной! Никому с самого моего рождения и в голову не приходило сделать из меня монаха... Это даже странно, когда хорошенько подумаешь, потому что, если бы не эта проклятая грамота, которая мне никогда не давалась, не псалмы, которых я не перевариваю, да не одежда – вылитая смирительная рубаха, прости мне Матерь Божья (тут он перекрестился), а главное, не посты, с которыми не мирится мой аппетит, – из меня, право, вышел бы монах хоть куда; во всяком случае, не хуже моего весельчака-приятеля из монастыря Святого Мартина. Странно, как об этом никто не подумал! А тебя, племянник, оказывается, чуть-чуть не упекли в монахи? Но для чего это, хотел бы я знать?

– Чтобы заставить род моего отца угаснуть вместе со мной в монастыре или в могиле, – ответил Дорвард с глубоким волнением.

– Да, да, теперь понимаю. Ловко придумано! Ах они негодяи! Однако они могли и ошибиться в расчете, потому что, видишь ли, я сам знавал одного каноника, некоего Роберсарта, который был пострижен, а потом бежал из монастыря и сделался начальником отряда вольных стрелков. У него была любовница, красотка, каких мне редко приходилось видеть, и трое прелестных ребятшек. Нет, племянник, на монахов никогда не следует полагаться, никогда: в любую минуту монах может превратиться в солдата. Так-то, дружок... Ну ладно, рассказывай дальше.

– Больше почти нечего рассказывать. Остается только прибавить, что, желая избавить мою бедную мать от всякой ответственности за меня, я поступил в монастырь, надел рясу послушника и подчинился всем монастырским правилам. Тут-то я и научился грамоте.

– Грамоте! – воскликнул с изумлением Меченый, которому всякие знания, превышавшие его собственные, казались чем-то сверхъестественным. – Значит, ты умеешь читать и писать? Это просто невероятно! Никто из Дорвардов, да и из Лесли, сколько я знаю, не умел подписать свое имя. По крайней мере за одного из Лесли я могу поручиться: для меня так же немисливо писать, как летать. Но, клянусь святым Людовиком, как же они умудрились тебя научить?

– Сначала, правда, было трудненько, ну а потом пошло легче. К тому же я так ослабел от ран и от потери крови, что ни на какое другое дело не был годен, да и хотелось мне угодить отцу Петру, моему избавителю. Тем временем, протосковав несколько месяцев, умерла моя бедная мать. И как только здоровье мое окончательно поправилось, я заявил моему покровителю отцу Петру – он был у нас помощником настоятеля, – что я не в силах стать монахом. Мы порешили, что, раз я не могу оставаться в монастыре, я должен уйти и поискать себе счастья в другом месте. Чтобы не навлечь на моего покровителя гнева Огилви, надо было придать моему уходу из монастыря вид побега, а чтобы мое бегство показалось правдоподобным, я унес с собой сокола нашего аббата. На самом же деле я покинул монастырь с его разрешения; у меня есть даже свидетельство за его подписью и печатью.

– Это хорошо, это очень хорошо, – сказал Лесли. – Наш король смотрит сквозь пальцы на всевозможные проделки, но уж беглых монахов, можно сказать, не выносит. Ну а как твой карман, племянник? Бьюсь об заклад, что он не слишком-то обременял тебя в пути.

– Я буду откровенен с вами, дядя, – сказал Дорвард. – Горсть мелкого серебра – вот все мое богатство.

– Это плохо, приятель! Я не люблю и не умею копить, да и к чему это по нынешним тревожным временам? Однако у меня всегда найдется в запасе какая-нибудь безделушка – не цепь, так браслет, не браслет, так ожерелье, – которую я ношу при себе и в случае надобности всегда могу пустить в оборот целиком или по частям. И тебе я советую следовать моему примеру. Может быть, ты меня спросишь, племянник, откуда я беру эти вещицы? – сказал Людовик Меченый, с самодовольным видом потряхивая своей золотой цепью. – Они, конечно, не растут на кустах или в поле, как златоцвет, из которого ребятишки делают себе ожерелья. Но что за беда! Ты можешь добывать их там же, где и я, – на службе у доброго короля французского. Вот где легко набрать много всякого добра, лишь бы хватило храбрости рисковать жизнью и не отступать перед опасностью!

– Я слышал, однако... – сказал Дорвард, уклоняясь от прямого ответа, ибо он не принял еще окончательного решения, – я слышал, что двор герцога Бургундского гораздо пышнее и богаче французского двора и что служить под знаменами герцога гораздо почетнее: бургундцы – мастера драться, и у них есть чему поучиться, не то что у вашего христианнейшего короля, который все победы одерживает языками своих послов.

– Ты рассуждаешь как легкомысленный мальчишка, милый племянник. Впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз. Я представлял себе короля не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом^[51], или как Роберт Брюс^[52] либо Уильям Уоллес^[53] в наших правдивых историях Барбора^[54] и Минстрела^[55]. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме бланманже... А хочешь, я тебе шепну на ушко: все это бредни, лунный свет на воде... Политика, братец, политика – вот в чем сила! Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство, которое создал французский король, искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его не носит и часто одевается проще, чем это подобает даже мне.

– Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка, – заметил Дорвард. – Понятно, что, если уж я вынужден служить на чужой стороне, мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя.

– Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, племянник, только ты-то сам мало еще смыслишь в этих делах. Герцог Бургундский – смельчак, человек горячий и вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить! Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей и вассалов из Артуа и Эно; но неужели ты думаешь, что, служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством? Отстань мы от них хоть на шаг, нас не задумываясь обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного прево; держись мы наравне с ними – это нашли бы только правильным и самое большее сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб; а если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья – что и трудно и очень опасно в схватках, где каждый спасает свою жизнь, – что ж, светлейший герцог сказал бы, наверно, на своем фламандском наречии, как он всегда говорит, когда видит ловкий удар: «Gut getroffen!¹⁵ Молодчина шотландец! Дать ему флорин: пусть выпьет за наше здоровье!» – и больше ничего! Если ты чужестранец, ничего не жди на

¹⁵ * Метко бьешь! (нем.)

службе у герцога – ни высокого чина, ни земель, ни денег: все это достается только своим, только сынам родной земли.

– А кому же еще оно может достаться, дядюшка? – воскликнул Дорвард.

– Тем, кто защищает этих сынов! – ответил Меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан. – Король Людовик рассуждает так: «Ты, простофиля Жак, добрый мой крестьянин, знай свое дело – свой плуг, свою борону, свою кирку или лопату, – а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота – заплатить за их труд из своего кармана, и только... А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может завести вас на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки и с ними мой честный Людовик Меченый; они будут сражаться не хуже, если не лучше вас со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Креси и Азенкуре»^[56]. Ну что, теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличия и на высокие почести?

– Понятно-то понятно, дядюшка, – ответил Дорвард, – только, на мой взгляд, нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить летние дни и зимние ночи на стенах крепости, в железной клетке, да еще на запоре, чтоб ты не сбежал, – это жизнь для лентяев... Эх, дядя, ведь это все равно что быть соколом, которого держат на насесте и никогда не берут на охоту!

– Клянусь святым Мартином Турским, мальчик-то с огоньком! Сейчас видна кровь Лесли: ни дать ни взять я сам в его годы, только у этого, пожалуй, еще больше безрассудства. Слушай же хорошенько, племянник, что я тебе скажу, – и да здравствует король Франции! Не проходит дня, чтобы нам не давали поручений, исполняя которые можно добыть и славу и деньги. Не думай, что самые опасные и смелые подвиги делаются только при свете дня. Я мог бы тебе привести не один пример, вроде нападений на замки, захвата пленных и тому подобных дел, когда некто – я не стану называть его имени – подвергался страшной опасности и заслужил больше милости, чем самые бесстрашные головорезы бесстрашного герцога Бургундского. И если Его Величеству угодно при этом держаться в тени, тем беспристрастнее может он оценить смелые подвиги, в которых сам не принимает участия, и тем справедливее наградить отличившихся воинов. Да, это мудрый монарх и тонкий политик!

Дорвард несколько минут хранил молчание и наконец тихо, но выразительно сказал:

– Добрый отец Петр часто поучал меня, что подвиги, в которых нет славы, могут быть пагубны. Мне, конечно, нет надобности спрашивать вас, дядюшка, всегда ли согласны с правилами чести эти тайные поручения.

– За кого ты меня принимаешь, племянник? – строго спросил Меченый. – Правда, я не воспитывался в монастыре и не умею ни читать, ни писать, но я – брат твоей матери, честный Лесли. Неужели ты думаешь, что я мог бы предложить тебе что-нибудь бесчестное? Сам Дюгеклен^[57], славнейший из рыцарей Франции, будь он жив, гордился бы моими подвигами.

– Я верю вам, дядюшка, верю каждому вашему слову! – сказал юноша с жаром. – Ведь вы мой единственный родственник. Но правду ли рассказывают, будто у короля здесь, в Плесси, такой странный двор? Правда ли, что при нем нет ни рыцарей, ни дворян, никого из его славных вассалов? Что свои редкие развлечения он делит со слугами замка и держит тайные советы с самыми темными и неизвестными людьми? Правда ли, что он унижает дворян и покровительствует людям самого низкого происхождения? Все это очень странно и мало напоминает его отца, благородного Карла^[58], вырвавшего из когтей английского льва наполовину завоеванную им Францию.

– Ты рассуждаешь как малый ребенок, – ответил Меченый, – и, как ребенок, поешь все ту же песню на новый лад. Посуди сам: если король даже и пользуется услугами своего цирюль-

ника Оливье^[59] в таких делах, которые тот выполняет лучше всякого пэра, разве государство не выигрывает от этого? Если он поручает всесильному начальнику полиции Тристану арестовать такого-то мятежного горожанина или такого-то беспокойного дворянина, то он уж знает, что приказание его будет сейчас же исполнено, и делу конец. А попробуй-ка он дать подобное поручение какому-нибудь герцогу или пэру, так тот в ответ пришлет ему, пожалуй, вызов! И если опять-таки королю угодно возложить какое-нибудь дело на Людовика Меченого, который в точности все исполнит, а не на великого коннетабля, который может все провалить, разве, по-твоему, это не доказательство его мудрости? А главное, разве не такой именно господин и нужен нашему брату, искателям счастья, которые должны служить там, где их больше ценят и лучше вознаграждают за труды? Так-то, мой мальчик... Верь мне: Людовик, как никто, умеет выбирать своих приближенных и каждому, как говорится, давать ношу по плечу. Это не то что король Кастильский, погибший от жажды только потому, что возле него не случилось кра-вчего, чтобы вовремя подать ему напиток... Но что это? Кажется, звонят у Святого Мартина! Я должен спешить в замок. Прощай! Желаю тебе веселиться, а завтра в восемь часов приходи к подъемному мосту и попроси часового, чтобы вызвал меня. Да смотри будь осторожен, держись середины дороги, не то как раз угодишь в капкан и останешься без руки или без ноги. А тогда жалея не жалея – уж будет поздно. Скоро ты увидишь короля, тогда и сам научишься ценить его по достоинству... Прощай!

С этими словами Меченый поспешно вышел из комнаты, позабыв второпях расплатиться за выпитое вино – рассеянность, часто присущая людям такого склада. А сам хозяин, которого, вероятно, смутили перья, развевавшиеся на шляпе его гостя, а может быть, его тяжелый меч, не осмелился напомнить ему о его забывчивости.

Читатель, вероятно, думает, что, как только Дорвард остался один, он поспешил в свою башенку, в надежде еще раз насладиться звуками волшебной музыки, навеявшей на него поутру такие сладкие грезы. Но то была глава из поэмы, тогда как свидание с дядей открыло ему страницу действительной жизни, а жизнь подчас куда как несладка! Воспоминания и размышления, вызванные разговором с дядей, так захватили юношу, что вытеснили на время из его головы все другие мысли, не говоря уж о нежных мечтах.

Квентин решил пойти прогуляться по берегу быстрого Шера. Расспросив предварительно хозяина, по какой дороге можно пройти к речке, не боясь попасть невзначай в западню или в капкан, он отправился в путь, стараясь разобраться в путанице осаждавших его мыслей и остановиться на каком-нибудь решении, ибо свидание с дядей несколько не рассеяло его сомнений.

Глава VI. Цыгане

*Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон¹⁶⁰¹.*

Старинная песня¹⁶

Воспитание, полученное Квентином Дорвардом, не могло способствовать смягчению его сердца и развитию высоких нравственных чувств. Как и все в его семье, он считал охоту лучшим развлечением, а войну – единственным серьезным делом. Всем Дорвардам с детства внушали, что их первый долг – это стойко выносить несчастья и жестоко мстить врагам-феодалам, истребившим весь их род почти поголовно. Однако эта наследственная ненависть смягчалась в Дорвардах их рыцарским благородством и чувством справедливости; поэтому даже в деле мести, которую они считали правосудием, Дорварды отличались некоторой гуманностью и великодушием. Наставления старого монаха, которые Квентин выслушивал в дни своей болезни и несчастья, подействовали на юношу сильнее, чем можно было бы ожидать, будь он здоров и счастлив, и дали ему некоторое понятие об обязанностях человека по отношению к другим. Если же принять в расчет невежественность людей той эпохи, всеобщее преклонение перед военными подвигами и самое воспитание Дорварда, то окажется, что его представление о нравственном долге было значительно выше, чем у многих его современников.

Свидание с дядей смутило и разочаровало его. А он так на него надеялся! В те времена, разумеется, не могло быть и речи о переписке, но часто случалось, что какой-нибудь пилигрим, странствующий купец или инвалид-воин приносил в Глен-хулакин вести о Людовике Лесли. И сколько раз, бывало, слушал маленький Дорвард рассказы о его удачах и несокрушимой храбрости! Воображение мальчика создало яркий образ этого далекого, смелого и славного дяди, чьи подвиги восхвалялись рассказчиками, и он представлял его себе одним из воспетых менестрелями славных рыцарей, которые мечом и копьем добывали себе короны и завоевывали королевских дочерей. И вот теперь ему пришлось развенчать этого прославленного дядю и усомниться в его рыцарском достоинстве. Однако все еще полный глубокого почтения, внушенного ему с детства к родственникам и ко всем старшим, ослепленный своим прежним чувством к дяде, к тому же молодой, неопытный и страстно преданный памяти горячо любимой матери, Дорвард не мог видеть в ее родном брате того, кем он был в действительности, то есть обыкновенного наемника, не хуже и не лучше большинства людей одной с ним профессии, наводнявших в то время Францию и составлявших одно из многих бедствий этой страны.

Меченый не был жестоким от природы, но привык относиться равнодушно к человеческой жизни и страданиям. Глубоко невежественный, алчный к добыче и неразборчивый в средствах, он в то же время был крайне расточителен, когда дело шло об удовлетворении его страстей. Привычка думать только о себе, заботиться только о своих личных нуждах и интересах сделала его самым эгоистичным животным в мире. Он даже не в состоянии был (как, может быть, уже заметил читатель) говорить о каком-нибудь предмете, чтобы сейчас же не свернуть на себя и не припутать к делу собственную персону. К этому надо еще прибавить,

¹⁶ Перевод С. Маршака.

что узкий круг его обязанностей и удовольствий мало-помалу так сильно сузил круг его мыслей, надежд и желаний, что в нем почти угасла жажда славы и подвигов, одушевлявшая его смолоду. Короче говоря, Меченый был самый заурядный, невежественный, грубый, себялюбивый солдат, смелый и решительный в исполнении своего дела, но не признававший ничего больше, кроме разве формального выполнения церковных обрядов, которое иногда разнообразилось веселыми попойками с отцом Бонифацем, первым его приятелем и духовником. Не будь Лесли человеком ограниченным, он мог бы далеко пойти по службе, потому что король, знавший лично каждого стрелка своей шотландской стражи, был вполне уверен в его отваге и преданности. Но, несмотря на некоторую долю природной хитрости и проницательности, благодаря которым Меченый до тонкости изучил характер своего государя и ловко умел к нему подлаживаться, он был так недалек, что никак не мог рассчитывать на повышение. Людовик был всегда особенно ласков и милостив к Меченому, но тот по-прежнему оставался только простым рядовым среди стрелков шотландской гвардии.

Хотя Квентин и не успел еще как следует оценить характер своего дяди, он все же был сильно и неприятно поражен равнодушием, с которым тот отнесся к гибели семьи своего зятя; немало удивило его и то, что такому близкому родственнику не пришло даже в голову предложить ему денег, в которых он так сильно нуждался. Если б не великодушные дядюшки Пьера, он был бы вынужден обратиться за помощью к Лесли. Однако он был несправедлив к своему родственнику, принимая за жадность простой недостаток внимания с его стороны. Меченый не испытывал в ту минуту нужды в деньгах, и ему не пришло в голову, что в них может нуждаться Квентин; иначе он, как добрый родственник, конечно, позаботился бы о своем оставшемся в живых племяннике, как позаботился о спасении душ умершей сестры и зятя. Но каковы бы ни были причины такой невнимательности, Дорварду от этого было не легче, и он не раз пожалел, что не поступил на службу к герцогу Бургундскому, прежде чем успел поссориться с его лесником. «Что бы со мной там ни случилось, – думал Дорвард, – мне оставалось бы хоть утешение, что в случае нужды у меня есть верный друг – дядя. Теперь же, когда я его увидел, у меня нет и этого утешения; какой-то купец, человек мне чужой, отнесся ко мне с большим участием, чем родной брат моей матери, мой земляк и притом дворянин. Право, можно подумать, что этот удар, обезобразивший его лицо, выпустил из него всю благородную шотландскую кровь».

Дорвард очень жалел, что ему не удалось расспросить своего родственника об этом таинственном дядюшке Пьере; но Меченый засыпал его разными вопросами, а большой колокол Святого Мартина так неожиданно прервал их разговор, что молодой человек не выбрал для этого удобной минуты.

«Тот старик с виду груб и суров, а язык у него острый и злой, но он великодушен и щедр, – думал Дорвард. – Такой человек стоит черствого и равнодушного родственника. “Лучше добрый чужой, чем свой, да чужой”, как говорит наша шотландская пословица. Непременно его разыщу; это будет нетрудно, если только он так богат, как говорит мой хозяин. По крайней мере, он посоветует, как мне быть. А если ему, как купцу, приходится странствовать по чужим краям, отчего бы мне и не поступить к нему? Уж кажется, у него на службе встретится не меньше приключений, чем на службе у короля Людовика».

В то время как эти мысли пробегали в голове Квентина, какой-то тайный голос, который звучит порой в нашем сердце помимо нашей воли, нашептывал ему сладкую надежду, что... как знать?... быть может, и обительница башенки, незнакомка с лютней и шарфом, присоединится к ним в их интересных странствиях.

В эту минуту Дорвард поравнялся с двумя прохожими почтенной наружности – очевидно, зажиточными турецкими горожанами – и, почтительно раскланявшись с ними, вежливо спросил, как ему найти дом дядюшки Пьера.

– Как ты сказал? Чей дом, дружок? – переспросил его один из незнакомцев.

– Дядюшки Пьера, сударь, торговца шелком, который насадил вон ту рощу, – повторил Дорвард свой вопрос.

– Рано же ты набрался нахальства, приятель! – строго заметил незнакомец, который был ближе к нему.

– И плохо выбрал предмет для своих дурацких шуток! – еще строже добавил другой. – Турский синдик не привык к такому обращению заезжих бродяг.

Квентин был до того удивлен, как такой простой и вежливый вопрос мог рассердить этих почтенных людей, что даже не обиделся на грубость их ответа и стоял молча, с изумлением глядя вслед удаляющимся незнакомцам, которые прибавили шагу и шли, беспрестанно оглядываясь на него, точно старались как можно скорее уйти подальше.

Немного погодя Дорварду попались навстречу несколько крестьян-виноделов, и он обратился к ним с тем же вопросом. Они стали спрашивать, какого дядюшку Пьера ему нужно: школьного учителя, церковного старосту или столяра; назвали еще с полдюжины других Пьеров, но ни один из них не походил по описанию на того, которого искал Дорвард. Это рассердило крестьян: им показалось, что молодой человек подшучивает над ними, и они накинулись на него с бранью, грозя от слов перейти к делу; но самый старший из них, пользовавшийся, по-видимому, некоторым влиянием у товарищей, остановил их.

– Разве вы не видите по его говору и по дурацкому колпаку, что он за птица? – сказал старик. – Это какой-нибудь заезжий штукар, фокусник или гадалщик... кто их там разберет, и почем знать, какую он может сыграть с нами штуку! Слышал я об одном таком проходимце: он заплатил лиард бедняку крестьянину, чтобы тот позволил ему поесть вволю винограда в своем саду. И что ж бы вы думали: он съел, не расстегнув ни одной пуговицы жилета, столько винограда, что можно было бы нагрузить целый воз... Ну его, пусть себе идет своей дорогой, а мы пойдем своей – так-то будет лучше!.. А ты, брат, коли не хочешь худа, ступай себе с богом и оставь нас в покое с твоим дядюшкой Пьером. Почем мы знаем – может быть, ты зовешь так самого черта!

Видя, что сила не на его стороне, Дорвард счел за лучшее молча удалиться. Крестьяне, которые в ужасе попятились было от него при одном намеке, что он колдун, теперь, очутившись на почтительном расстоянии, набрались храбрости и стали кричать ему вслед всевозможные ругательства, а потом запустили в него целым градом камней, которые, впрочем, не могли причинить ему вреда, так как падали, не долетая до цели. Продолжая свой путь, Квентин стал думать, что либо он попал под власть каких-нибудь злых чар, либо жители Турени – самый глупый, грубый и негостеприимный народ во всей Франции. Случившееся вскоре событие не замедлило подтвердить его последнее предположение.

На небольшом пригорке у самого берега быстрого, живописного Шера росло несколько каштанов, образуя отдельную, замечательно красивую группу. Под деревьями столпилась небольшая кучка крестьян, стоявших неподвижно и пристально глазевших вверх на какой-то предмет, скрытый в ветвях ближайшего к ним каштана. Юность редко умеет рассуждать и обыкновенно так же легко поддается малейшему толчку любопытства, как гладкая поверхность тихого пруда – случайно брошенному в него камешку. Квентин ускорил шаги и, легко избежав на пригорок, увидел ужасное зрелище, привлечшее к себе внимание собравшихся зевак: на одном из деревьев в последних предсмертных судорогах раскачивался повешенный.

– Отчего вы не перережете веревку? – воскликнул юноша, который был так же скор на помощь ближнему, как и на удар за оскорбление.

Один из крестьян повернул к нему свое бледное как мел, искаженное страхом лицо и молча указал на вырезанный на коре дерева значок, имевший такое же отдаленное сходство с цветком лилии, как таинственные, хорошо известные нашим сборщикам податей зарубки – с «широкой стрелой». Ничего не понимая во всем этом и мало заботясь о значении этого символа, Дорвард с легкостью белки взобрался на дерево, вытащил из кармана свой верный «чер-

ный нож» – неизбежный спутник каждого горца и охотника – и, крикнув вниз, чтобы кто-нибудь поддержал тело, в один миг перерезал веревку.

Но его человеколюбивый поступок произвел на зрителей совершенно неожиданное впечатление. Вместо того чтобы помочь ему, крестьяне были до того испуганы его смелостью, что все разбежались словно по команде, как будто присутствие их здесь могло быть сочтено за сообщничество и грозило им опасностью. Тело, никем не поддержанное, тяжело рухнуло на землю, и Квентин, быстро спустившийся с дерева, к прискорбию своему убедился, что в этом человеке угасла последняя искра жизни. Тем не менее он все же попытался привести его в чувство: сняв петлю с шеи несчастного и расстегнув на нем платье, он брызгал водой ему в лицо и делал все, что обыкновенно делают, когда человек теряет сознание.

Он так углубился в свое занятие, что забыл обо всем на свете. Громкие крики на непонятном для него языке скоро заставили его оглянуться, и не успел он опомниться, как уже был окружен какими-то странными людьми, женщинами и мужчинами, и почувствовал, что кто-то крепко держит его за руки. В тот же миг перед ним сверкнул нож.

– Ах ты, бледнолицый слуга дьявола! – воскликнул один из мужчин на ломаном французском языке. – Убил его и еще хочешь ограбить! Но ты у нас в руках и поплатишься за это!

При этих словах со всех сторон засверкали ножи, и, оглянувшись, Дорвард увидел, что он окружен свирепыми людьми, уставившимися на него, как волки на добычу.

Однако он не растерялся, и это его спасло.

– Что вы, что вы, опомнитесь! – сказал он. – Если это ваш друг, так ведь я только что собственными руками перерезал петлю, в которой он висел, и вы гораздо лучше сделаете, если попытаетесь вернуть его к жизни, вместо того чтоб угрожать невинному человеку, которому он, может быть, обязан своим спасением.

Между тем женщины окружили умершего и старались привести его в чувство теми же средствами, к каким раньше прибегал Дорвард. Убедившись наконец, что все их усилия бесплодны, они, по восточному обычаю, подняли отчаянный крик и принялись в знак печали рвать свои длинные черные волосы; мужчины же раздирали на себе платье и посыпали голову землей. Они так увлеклись этой церемонией оплакивания умершего, что совсем позабыли о Дорварде, в невинности которого их убедила перерезанная веревка. Самым благоразумным для него было бы, конечно, предоставить теперь этим дикарям предаваться на свободе своему горю и поскорей уйти от них, но Дорвард с детства привык презирать опасности, да и молодое любопытство было слишком задето.

У всех этих странных людей, и женщин и мужчин, были на головах тюрбаны и колпаки, напоминавшие скорее его собственный головной убор, чем шапки и шляпы, какие носили в то время во Франции. Все они были черны лицом, как африканцы. У многих мужчин были курчавые черные бороды. У двоих-троих – по-видимому, начальников – развевались яркие красные, желтые и зеленые шарфы, а в ушах и на шее блестели серебряные украшения; руки и ноги у всех были голые, и все они были очень грязны и оборваны. Дорвард не заметил на них другого оружия, кроме длинных ножей, которыми они недавно ему угрожали, и только один юноша, очень живой и подвижный, горевавший больше всех и громче всех выражавший свою скорбь, был вооружен короткой кривой мавританской саблей, за рукоятку которой он беспрестанно хватался, бормоча невнятные угрозы.

Весь этот беспорядочно столпившийся и предававшийся горю народ так мало походил на людей, которых Дорварду случалось видеть до сих пор, что он готов был принять их за «неверных собак», проклятых сарацин, о которых он слышал и читал в романах как о заклятых врагах каждого благородного рыцаря и каждого христианского государя. Он собирался уже обратиться подобру-поздорову подальше от этого опасного соседства, как вдруг послышался конский топот, и на людей, принятых им за сарацин, взваливших тем временем на плечи тело своего умершего товарища, налетел отряд французских солдат.

Это неожиданное появление мигом изменило всю картину: заунывные вопли перешли в дикие крики ужаса. Мгновенно мертвое тело оказалось на земле, а толпа бросилась врассыпную, со змеиной ловкостью и проворством ускользая под брюхом лошадей от направленных на нее копий.

– Бей проклятых язычников!.. Хватай, коли, руби! Дави их как собак! – раздавались яростные крики.

Но беглецы скрылись так быстро, да и самое место, поросшее молодым лесом и мелким кустарником, так затрудняло движения всадников, что им удалось свалить с ног и взять в плен только двоих. Один из пойманных был юноша с кривой саблей; он сдался только после отчаянного сопротивления. Квентина, на которого, казалось, в последнее время ополчилась сама судьба, тоже схватили и, несмотря на его горячий протест, тут же крепко связали, причем солдаты выказали такую ловкость и проворство, которые ясно доказывали, что подобные расправы были им не в новинку.

Квентин с беспокойством взглянул на начальника отряда, от которого надеялся получить свободу, и, не зная, радоваться ему или бояться, узнал в нем угрюмого и молчаливого товарища дядюшки Пьера. Конечно, в каких бы преступлениях ни обвиняли этих людей, он не мог не знать из утреннего приключения, что Дорвард не имеет с ними ничего общего; однако трудно было сказать, захочет ли этот зловещий человек быть для него справедливым судьей и беспристрастным свидетелем, и Дорвард не был уверен, что он улучшит свое положение, если обратится к нему за помощью.

Впрочем, ему не дали долго раздумывать.

– Эй, Птит-Андре и Труазешель^[61], – сказал мрачный начальник отряда, обращаясь к двум своим подчиненным, – вот к вашим услугам подходящие деревья. Покажите-ка этим нехристям, этим колдунам и разбойникам, что значит мешать правосудию короля, когда оно наказывает кого-нибудь из их проклятого племени! Долой с коней, ребята, да живо за дело!

В одну минуту Труазешель и Птит-Андре спешили, и Квентин заметил, что у каждого из них висело на седле по большой связке аккуратно смотанных веревок. Они их проворно размотали, и на каждой оказалась готовая петля. Кровь застыла в жилах Дорварда, когда он увидел, что одна из них предназначена для него. Тут он громко окликнул начальника отряда, напомнил ему об их утренней встрече, о правах свободного шотландца в дружественной союзной стране и стал уверять, что не только не имеет ничего общего с этими людьми, но даже не знает, в каких преступлениях их обвиняют.

Но тот, к кому он взывал, едва удостоил его взглядом и, не обращая ни малейшего внимания на его слова, повернулся к кучке крестьян, сбежавшихся из любопытства или из желания свидетельствовать против пойманных, и строго спросил их, был ли этот молодец с теми бродягами.

– Как же, был, не во гнев будь сказано вашей милости. Он-то и перерезал веревку, на которой по приказанию Его Величества вздернули того бездельника. И поделом ему, ваша милость! – поспешил ответить один из крестьян.

– А я готов поклясться Господом Богом и святым Мартином Турским, что видел этого молодца, когда их шайка грабила нашу ферму, – добавил другой.

– Что ты, отец! – сказал стоявший поблизости мальчуган. – Тот язычник был весь черный, а у этого лицо совсем белое; у того были короткие курчавые волосы, а у этого длинные русые кудри.

– Эх, сынок, мало ли что! – ответил крестьянин. – Ты еще, пожалуй, скажешь, что у того была зеленая куртка, а у этого серая. Так ведь его милости господину прево известно, что все они так же легко меняют свою шкуру, как и платье. Нет, нет, это тот самый!

– С меня довольно и того, что он, как вы сами видели, осмелился идти против повеления короля и пытался спасти приговоренного к смерти изменника, – сказал начальник отряда. – Эй, Труазешель, и ты, Птит-Андре, живо за дело!

– Выслушайте меня, господин начальник! – в смертельном страхе воскликнул юноша. – Не дайте умереть невинному! Мои соотечественники этого так не оставят, они вам отомстят за мою смерть в этой жизни, а в будущей вы дадите ответ самому Богу за напрасно пролитую кровь!

– Я готов отвечать за свои поступки и в этой жизни и в будущей, – холодно ответил прево и левой рукой сделал знак своим подчиненным; в то же время он со злобной, торжествующей улыбкой дотронулся указательным пальцем до своей правой руки, которая была у него на перевязи, вероятно вследствие удара, полученного им утром от Дорварда.

– Подлец! Ты мстишь, негодяй! – вне себя воскликнул Дорвард; теперь он понял, что жажда мести была единственной причиной этой жестокости и что ему нечего ждать пощады.

– Бедняга бредит со страха, – сказал начальник отряда. – Скажи-ка ему напутственное слово, Труазешель, прежде чем спроводишь его на тот свет: ты хорошо справляешься с этим, когда под рукой нет духовника. Дай ему минуту на благочестивые размышления, но чтобы через минуту все было кончено, слышишь? Я должен продолжать объезд. За мной, ребята!

Великий прево уехал в сопровождении своего отряда, оставив в помощь палачам только двух-трех солдат. Несчастный юноша с отчаянием смотрел вслед отъезжающим, и, когда топот копыт затих, постепенно замирая вдали, в душе его угас последний луч надежды. В смертельном страхе он оглянулся вокруг и, несмотря на весь ужас этой минуты, был поражен стоическим хладнокровием своих товарищей по несчастью. Сначала они были охвачены страхом и изо всех сил старались вырваться, но, когда их связали и они убедились, что смерть неизбежна, они стали ждать ее с невозмутимым спокойствием. Ожидание смерти придало, может быть, некоторую бледность их загорелым лицам, но страх не исказил в них ни одной черты и не погасил упорного высокомерия, горевшего в их глазах. Они напоминали пойманных лисиц, которые, пытаясь спастись, истощили весь запас своей хитрости и гордо умирают в мрачном молчании, на что не способны ни медведи, ни волки, эти страшные враги охотника.

Они не дрогнули даже тогда, когда палачи приступили к делу, и, надо заметить, приступили с гораздо большей поспешностью, чем приказал их начальник; это, впрочем, можно было объяснить привычкой, благодаря которой они стали находить даже удовольствие в исполнении своих ужасных обязанностей.

Здесь мы остановимся на минуту, чтобы набросать портреты этих людей, так как во время всякой тирании личность палача всегда получает важное значение.

Эти два исполнителя закона представляли прямую противоположность друг другу как по приемам, так и по внешности. Людовик называл обыкновенно одного Демокритом, другого Гераклитом^[62], а ближайший их начальник, великий прево, окрестил одного «Жан-кисляй», а другого – «Жан-зубоскал».

Туазешель был высок ростом и сухощав; он отличался степенностью и выражением какой-то особенной важности в лице. Он всегда носил на шее крупные четки, которые имел обыкновение набожно предлагать в пользование несчастным, попадавшим в его лапы. У него были всегда наготове два-три латинских изречения о тщете и ничтожестве земной жизни, и, если б можно было допустить подобное сочетание, он мог бы соединить обязанности палача с обязанностями тюремного священника. Птит-Андре был, напротив, маленький, кругленький человечек, жизнерадостный и подвижный, исполнявший свои обязанности как самое веселое дело в мире. Казалось, он питал особенную, нежную привязанность к своим жертвам и обращался к ним не иначе, как с самыми приветливыми и ласковыми словами. Он называл их то «друг любезный», то «голубушка», то «старый приятель», то «папаша», в зависимости от их пола и возраста. В то время как Труазешель старался внушить несчастным осужденным фило-

софский и религиозный взгляд на ожидавшую их участь, Птит-Андре всегда пытался пустить в ход веселую шутку, чтоб облегчить их переход в лучший мир, и убеждал их, что земная жизнь – вещь низкая, презренная и ничего не стоящая.

Не могу объяснить, как и почему, но эти две красочные фигуры, несмотря на все разнообразие своих талантов, столь редких в людях их профессии, внушали всем такую безграничную ненависть, какой ни до, ни после них, наверно, не внушал никто из их братии; те, кто их знал, сомневались лишь в одном: который из двоих – торжественный и степенный Труазешель или вертлявый и болтливый Птит-Андре – был отвратительнее и страшнее. Несомненно, что в этом отношении оба они по праву заслужили пальму первенства среди всех других палачей Франции, за исключением разве своего господина Тристана Отшельника – знаменитого великого прево, да его господина, Людовика XI.

Нечего и говорить, что Квентина Дорварда в ту страшную минуту не занимали подобные соображения. Жизнь и смерть, время и вечность – вот что носилось перед его умственным взором; его слабая человеческая природа изнемогала перед этой ужасной перспективой, а возмущенная гордость восставала против этой слабости. Он обратился мысленно к Богу своих отцов, и в памяти его в ту же минуту всплыла старая, полуразрушенная часовня, где покоился прах всех его близких и где не было только его. «Заклятые наши враги дали им по крайней мере могилу в родной земле; а я, словно отверженец, достанусь в добычу воронам и коршунам на чужбине!» Слезы невольно брызнули из его глаз. Труазешель легонько тронул его за плечо и торжественно одобрил его покорность судьбе. Затем, воскликнув: «*Beati qui in Domino moriuntur!*»¹⁷ – он заметил, что блаженна душа, отлетающая от скорбящего человека.

Птит-Андре дотронулся до другого его плеча и сказал:

– Мужайся, сынок! Коли довелось поплясать – делать нечего, надо плясать веселей. Кстати, и скрипка настроена, – добавил он, помахивая веревкой, чтобы придать больше соли своей остроте.

Юноша взглянул помутившимся взором сперва на одного, потом на другого. Видя, что он их плохо понимает, приятели стали легонько подталкивать его к роковому дереву, уговаривая не падать духом, потому что все будет кончено в один миг.

В эту ужасную минуту несчастный еще раз растерянно огляделся вокруг и сказал:

– Если здесь есть хоть одна добрая христианская душа, пусть передаст Людовику Лесли, стрелку шотландской гвардии, что его племянника подло убили!

Эти слова были сказаны как нельзя более вовремя, потому что в эту минуту, привлеченный приготовлениями к казни, сюда подошел вместе с другими случайными прохожими один из стрелков шотландской гвардии.

– Эй, вы, берегитесь! – крикнул он палачам. – Если этот юноша – шотландец, я не допущу, чтобы он был предательски повешен!

– Сохрани бог, господин рыцарь. Но мы должны выполнить приказ, – ответил Труазешель и потащил Дорварда за руку.

– Чем комедия короче, тем она лучше, – добавил Птит-Андре и подхватил его с другой стороны.

Но Квентин, услышав слова, окрылившие его надеждой, изо всех сил рванулся из рук исполнителей закона и в один миг очутился возле шотландского стрелка.

– Спаси меня, земляк! – протягивая к нему связанные руки, воскликнул он на своем родном языке. – Именем Шотландии и святого Андрея молю тебя, заступись за меня! Я ни в чем не повинен! Ради спасения твоей души помоги мне!

– Именем святого Андрея клянусь, что им удастся схватить тебя, только переступив через мой труп! – сказал стрелок, обнажая меч.

¹⁷ «Блаженны те, кто в Господе преставился!» (лат.)

– Перережь веревки, земляк, – воскликнул Дорвард, – и я сам еще постою за себя!

Один взмах меча – и пленник очутился на свободе. Неожиданно бросившись на одного из солдат, оставленных в помощь палачам их начальником, он выхватил из его рук алебарду и крикнул:

– Теперь подходите, если посмеете!

Палачи начали перешептываться.

– Скачи скорее за господином прево, – сказал Труазешель, – а я постараюсь их здесь задержать... Эй, стража, к оружию!

Птит-Андре вскочил на лошадь и ускакал, а стража так заспешила исполнить приказание Труазешеля, что в суматохе упустила и двух оставшихся пленников. Возможно, что солдаты не очень-то старались их удержать, потому что были уже пресыщены кровью своих несчастных жертв: иной раз даже дикие, кровожадные звери пресыщаются убийствами. Однако в свое оправдание они стали уверять, что поспешили на помощь к Труазешелю, полагая, что жизни его грозит опасность. Надо сказать, что между шотландскими стрелками и стражей прево давно существовала вражда, которая часто приводила к открытым ссорам и стычкам.

– Нас здесь довольно, чтобы наголову разбить этих гордых шотландцев, если вам угодно, – сказал один из солдат Труазешелю.

Но осмотрительный исполнитель закона остановил его знаком и, обратившись к шотландскому стрелку, вежливо сказал:

– Знаете ли вы, сударь, что вы наносите величайшее оскорбление господину прево, вмешиваясь в дело, порученное ему королем, и нарушая ход королевского правосудия? Я уж не говорю о несправедливости по отношению ко мне, в руки которого преступник отдан самим законом. Но и молодому человеку вы едва ли оказываете большую услугу, ибо из пятидесяти случаев быть повешенным, которые ему, вероятно, еще представятся в жизни, он вряд ли хоть раз будет так хорошо подготовлен к смерти, как это было за минуту до вашего необдуманного вмешательства.

– Если мой соотечественник разделяет это мнение, я готов сейчас же, не говоря ни слова, отдать его вам, – ответил с улыбкой стрелок.

– Нет, нет, ради бога, не слушайте его! – воскликнул Квентин. – Уж лучше отрубите мне голову вашим длинным мечом! Я охотнее умру от вашей руки, чем от руки этого негодяя.

– Вы слышите, как он кощунствует? – сказал исполнитель закона. – Эх, как подумаешь, до чего изменчива человеческая натура! Всего какую-нибудь минуту назад он был совсем готов отправиться в неведомое путешествие, а теперь, глядите, не хочет и властей признавать!

– Но скажите мне наконец, в чем провинился этот юноша? – спросил стрелок.

– Он осмелился... – начал торжественно Труазешель, – он осмелился вынуть из петли тело преступника, несмотря на то, что я собственноручно вырезал лилию на том дереве, где он висел!

– Правда ли это, молодой человек? – строго спросил Дорварда стрелок. – И как ты мог решиться на такое преступление?

– В ваших руках теперь мое спасение, – воскликнул Дорвард, – и я как на духу скажу вам сущую правду! Я увидел на дереве человека в предсмертных судорогах и из простого чувства сострадания перерезал веревку. В ту минуту я не думал ни о лилиях, ни о левкоях и так же мало собирался оскорбить французского короля, как и самого святейшего Папу.

– А за каким чертом тебе понадобилось трогать мертвое тело? – спросил стрелок. – Куда ни ступит этот благородный рыцарь прево, он всюду оставляет повешенных на своем пути: они здесь висят на каждом дереве, словно гроздь в винограднике, и у тебя будет много дела, если ты вздумаешь подбирать за ним его жатву. Ну да ладно, я все-таки помогу тебе, земляк, насколько буду в силах... Послушайте, господин исполнитель закона, вы же видите, что это ошибка. Надо быть снисходительнее к такому молоденькому мальчику, да еще чужестранцу.

У себя на родине он не привык к такой быстрой расправе, какая принята у вас вашим начальником.

– Это еще не значит, господин стрелок, что у вас на родине в ней не нуждаются, – сказал подоспевший в эту минуту Птит-Андре. – Не робей, Труазешель... Сейчас здесь будет сам господин прево, и мы еще посмотрим, захочет ли он выпустить из рук дело, не доведя его до конца.

– В добрый час, – ответил стрелок. – А вот кстати и кое-кто из моих товарищей.

Действительно, в то время как Тристан Отшельник со своим отрядом въезжал на пригорок с одной стороны, с другой подскакали галопом пять шотландских стрелков, и во главе их сам Людовик Меченый.

На этот раз Лесли далеко не выказал того равнодушия к своему племяннику, в каком еще так недавно обвинял его Дорвард. Как только он увидел своего товарища и племянника в оборонительном положении, он крикнул:

– Спасибо тебе, Каннингем!.. Джентльмены, товарищи, на помощь! Этот юноша – шотландский дворянин и мой племянник... Линдсей, Гутри, Тайри, мечи наголо, марш вперед!

Между противниками готова была завязаться ожесточенная стычка, и, несмотря на сравнительную малочисленность стрелков, неизвестно, на чьей стороне остался бы перевес, так как шотландцы были прекрасно вооружены. Но тут великий прево – то ли потому, что он сомневался в исходе схватки, то ли потому, что боялся рассердить короля, – сделал знак своим солдатам, чтобы они не двигались, и, обратившись к Меченому, стоявшему во главе своего небольшого отряда, спросил, на каком основании он, стрелок королевской гвардии, противится приведению в исполнение приговора над преступником.

– Ваше обвинение – чистейшая ложь, клянусь святым Мартином! – воскликнул взбешенный Лесли. – Разве казнь преступника и убийство моего племянника имеют что-нибудь общее?

– Ваш племянник может быть таким же преступником, как и всякий другой, – ответил прево, – и каждого иностранца судят во Франции по французским законам.

– Да, но ведь нам, шотландским стрелкам, даны привилегии, – возразил Меченый. – Правда, товарищи?

– Правда, правда! – раздались крики. – Нам даны привилегии! Да здравствует король Людовик! Да здравствует храбрый Лесли! Да здравствует шотландская гвардия! Смерть тому, кто посягнет на наши привилегии!

– Образумьтесь, господа, – сказал прево. – Не забывайте о моих полномочиях!

– Не ваше дело нас учить! – воскликнул Каннингем. – На это у нас есть свое начальство, а судить нас может только король да еще наш капитан, пока великий коннетабль в отсутствии.

– А вешать нас может только наш старый Сэнди Уилсон – собственный палач шотландских стрелков, – добавил Линдсей. – И дать это право другому – значило бы кровно оскорбить Сэнди, честнейшего из всех палачей, когда-либо затягивавших петлю на шею у висельника.

– По крайней мере, если бы меня должны были повесить, я никому другому не позволил бы надеть себе петлю на шею, – заключил Лесли.

– Да послушайте вы наконец! Этот молодчик не состоит в стрелках и не имеет права пользоваться вашими привилегиями, как вы их называете, – сказал прево.

– То, что мы называем нашими привилегиями, все должны признавать за нами! – воскликнул Каннингем.

– Мы не допустим тут никаких споров! – закричали, как один человек, все стрелки.

– Вы, кажется, рехнулись, господа, – сказал Тристан Отшельник. – Никто и не думает оспаривать ваших привилегий. Но ведь этот молодчик совсем не стрелок...

– Он мой племянник! – сказал Меченый с торжествующим видом.

– Но не стрелок гвардии, полагаю! – отрезал Тристан.

Стрелки в смущении переглянулись.

– Не сдавайся, товарищ! – шепнул Каннингем Меченому. – Скажи, что он завербован в наш отряд.

– Клянусь святым Мартином, добрый совет! Спасибо, земляк, – ответил Лесли тоже шепотом и, возвысив голос, поклялся, что не дальше как сегодня он зачислил племянника в свою свиту.

Это заявление дало делу решительный оборот.

– Хорошо, господа, – сказал Тристан Отшельник, знавший, с какой болезненной тревогой относился Людовик к малейшему неудовольствию в рядах его гвардии. – Вы говорите, что хорошо знаете ваши так называемые привилегии, и мой долг велит мне избегать лишних ссор с королевской гвардией. Но все-таки я доложу Его Величеству обо всем. И позвольте вам заметить, что, поступая таким образом, я действую снисходительнее, чем, может быть, допускает мой долг.

Сказав это, прево ускакал в сопровождении своего отряда, а стрелки остались на месте, чтобы наскоро обсудить, что им делать дальше.

– Прежде всего мы должны доложить обо всем нашему начальнику лорду Кроуфорду и сейчас же внести молодца в наши списки.

– Но послушайте, господа, мои достойные друзья и защитники, – сказал Квентин нерешительно, – ведь я еще не решил, поступать мне в королевскую гвардию или нет.

– В таком случае, братец, решай уж заодно – быть тебе повешенным или нет, – сердито сказал его дядя, – потому что говорю тебе наперед: хоть ты мне и племянник, я решительно не вижу другого средства спасти тебя от виселицы!

Против такого довода возражать было нечего, и Квентину оставалось только принять предложение, которое во всякое другое время было бы ему не совсем по сердцу. Но он еще так недавно в буквальном смысле этого слова выскользнул из петли, которую уже чувствовал на своей шее, что готов был примириться и с более плачевной участью, чем та, которую ему предлагали.

– Он должен сейчас же ехать к нам в казармы, – сказал Каннингем, – только там он будет в безопасности, пока здесь рыщут эти ищейки.

– Не могу ли я, дядюшка, хоть сегодня переночевать в гостинице, где я остановился? – спросил юноша, которому, как и всякому новобранцу, хотелось выиграть хоть одну, последнюю ночь свободы.

– Отчего ж бы и нет, племянник, – ответил насмешливо Людовик Лесли, – особенно если ты хочешь доставить нам удовольствие выловить тебя завтра где-нибудь в канаве, в пруду или в одном из притоков Луары зашитым в мешок, чтобы тебе удобнее было плавать. А дело, наверно, тем и кончится... Недаром прево улыбался, когда уезжал от нас, – добавил он, обращаясь к Каннингему. – Это плохой знак – у него что-то есть на уме.

– Руки коротки! – сказал Каннингем. – Для его сетей мы слишком крупная дичь. Однако я все-таки советовал бы тебе сегодня же переговорить с этим чертом Оливье, который всегда был нам другом. Да, кстати, он раньше прево увидится с королем, потому что завтра он его бреет.

– Так-то так, – сказал Меченый, – только к Оливье нечего и соваться с пустыми руками, а я как на грех гол, что твоя береза в декабре месяце.

– Как и все мы, – сказал Каннингем. – Но неужто Оливье не поверит нам хоть раз на честное слово? За это мы могли бы посулить, что сделаем ему в складчину подарок при первой же получке жалованья. И поверьте, что, если он будет заинтересован в этом деле, наше жалованье не заставит себя долго ждать.

– Ну а теперь в замок! – сказал Меченый. – Мой племянник расскажет нам дорогой, как его угораздило навязать себе на шею прево, чтобы мы знали, что надо говорить Кроуфорду и Оливье.

Глава VII. Стрелок королевской гвардии

*Судья
Читай устав. Клянись на этой книге,
Подписывайся, становись героем.
За подвиги грядущие в награду
Бери общественных запасов долю –
Шесть пенсов в день, еду
И снаряжение.*

«Офицер-вербовщик»^[63]

Одному из слуг велено было спешиться и передать свою лошадь Квентину Дорварду, который вместе со своими воинственными соотечественниками двинулся крупной рысью по направлению к замку Плесси, чтобы вопреки своему желанию сделаться обитателем мрачной крепости, так поразившей его в это утро.

Дорогой, в ответ на расспросы дяди, Квентин подробно рассказал свое утреннее приключение, которое послужило причиной чуть было не постигшей его страшной беды, и, хотя сам он не видел в нем ничего смешного, рассказ его был встречен взрывом дружного хохота.

– А все-таки дело дрянь, – сказал дядя. – Ну на кой черт понадобилось этому безмозглому мальчишке возиться с мертвецом, да еще с окаяннм язычником!

– Разумеется. Если бы еще он поссорился с людьми прево из-за смазливой бабенки, как случилось с Майклом Моффэтом, в этом был бы хоть какой-нибудь смысл, – сказал Каннингем.

– А по-моему, здесь дело касается нашей чести, – сказал Линдсей. – Черт бы побрал этого негодяя Тристана с его молодчиками! Как они смеют путать наши шотландские шапки с тюрбанами каких-то бродяг и грабителей! Это просто оскорбление. Если же у них такое плохое зрение, что они не видят разницы, так мы их полечим по-свойски. Но я убежден, что Тристан только притворяется, будто он ошибся, чтобы под этим предлогом хватать честных шотландцев, которые приходят повидаться со своими родственниками.

– Дядя, могу я вас спросить, что это за люди, о которых вы сейчас говорили? – осведомился Квентин.

– Разумеется, можешь, племянник, – ответил дядя, – только я не знаю, кто ответит тебе на этот вопрос. По крайней мере я не могу, хоть и знаю о них не меньше других. Они появились здесь... пожалуй, года два тому назад, и налетели, как саранча.

– Верно, – сказал Линдсей, – и наш простофиля Жак (так мы называем мужиков, молодой человек, да и ты скоро научишься выражаться по-нашему)... Жак-простофиля, говорю я, мало заботится о том, каким ветром принесло эту саранчу, лишь бы знать, что он ее опять унесет.

– Разве они делают так много зла? – спросил юноша.

– Вот вопрос! – сказал Каннингем. – Да ведь они язычники, мальчуган! Не то сарацины, не то магометане... Они не признают ни Божьей Матери, ни святых (здесь он перекрестился), воруя все, что под руку попадет, и вдобавок колдуют и гадают.

– А говорят, среди их женщин есть прехорошенькие, – заметил Гутри. – Впрочем, Каннингеми это лучше знать.

– Что? Что ты сказал? – вскипел Каннингем. – Ты хочешь меня оскорбить?

– В моих словах не было ничего оскорбительного, – ответил Гутри.

– Пусть нас рассудят товарищи, – сказал Каннингем. – Послушайте, он посмел намекнуть, что я, шотландский дворянин, верующий в нашу святую церковь, завожу себе подружек среди этих поганых язычниц!

– Полно, полно, это была просто шутка, – вступился Меченый. – Что за счеты между товарищами!

– Пусть в другой раз так глупо не шутит! – проворчал Каннингем себе под нос.

– А водятся ли эти бродяги где-нибудь еще, кроме Франции? – спросил Линдсей.

– Еще бы! В Германии, Испании и Англии они бродят целыми ордами, – ответил Меченый. – Только одна Шотландия, благодарение святому Андрею, еще свободна от них.

– Шотландия слишком холодна для саранчи и слишком бедна для воров, – сказал Каннингем.

– А может быть, и то, что наши горцы не потерпят других воров, кроме своих собственных, – заметил Гутри.

– Эй, ты, – сказал Меченый, – не забывай, что я сам уроженец горного Ангюса и что почти все горцы Глена – мои благородные родственники! Я не потерплю, чтобы горцев поносили в моем присутствии!

– Но не будешь же ты отрицать, что они воруют скот? – сказал Гутри.

– Угнать стадо овец – еще не значит быть вором, – возразил Меченый. – Я готов утверждать это где и когда угодно.

– Стыдитесь, друзья! – сказал Каннингем. – Кто ссорится теперь? Подумайте, какой это дурной пример для молодого человека... Но вот и замок. Я закажу бочонок вина, и, чтобы скрепить нашу дружбу, мы выпьем за Шотландию – и горную и низинную, если вы согласны быть сегодня моими гостями.

– Согласны, согласны! – закричал Меченый. – А я поставлю другой бочонок, чтобы залить нашу размолвку и sprysnut' вступление моего племянника в нашу дружину.

Когда они подъехали к замку, решетка была немедленно поднята, мост спущен, и стрелки по одному, гуськом, въехали в ворота. Но, когда настала очередь Квентина, часовые скрестили перед ним копья и приказали ему остановиться. В ту же минуту со стен на него было направлено множество мушкетенов и стрел. Эта предосторожность строго выполнялась даже в тех случаях, когда чужестранец являлся в сопровождении стрелков гарнизона, к которому принадлежала и стража, стоявшая у ворот.

Людовик Меченый, нарочно оставшийся подле племянника, дал необходимые объяснения, и наконец, после долгих переговоров, Дорварда пропустили и повели под сильным конвоем в помещение лорда Кроуфорда.

Этот шотландский дворянин был одним из последних уцелевших обломков доблестной дружины шотландских лордов и рыцарей, долго и верно служивших Карлу VI в его кровавых войнах, утвердивших независимость французской короны и изгнавших англичан из пределов Франции. Еще юношей он сражался вместе с Дугласом и Бьюканом^[64] под знаменами Жанны д'Арк^[65] и был чуть ли не последним из шотландских рыцарей, так охотно обнаживших свой меч за лилию против общего старинного врага – Англии. Перемены, происшедшие в Шотландии, а может быть, и долгая привычка к французской жизни и обычаям заставили старого лорда окончательно оставить мысль о возвращении на родину, тем более что, занимая высокое место при дворе Людовика, он благодаря своему открытому, честному характеру приобрел огромное влияние на короля, который, хотя вообще и мало верил в человеческую добродетель и честь, питал неограниченное доверие к лорду Кроуфорду и охотно подчинялся его влиянию, ибо Кроуфорд никогда не вмешивался ни в какие дела, кроме тех, которые входили в его прямые обязанности.

Людовик Меченый и Каннингем последовали за Дорвардом и его конвоем в помещение своего начальника. Благородная наружность старика и глубокое уважение, которое ему оказывали гордые, никого, казалось, не уважавшие шотландцы, произвели сильное впечатление на молодого человека.

Лорд Кроуфорд был высокий, бодрый, худощавый старик, сохранивший еще всю свою силу, если не гибкость молодости; он так же легко мог вынести любой поход и тяжесть оружия, как самый молодой из его солдат. Его суровое загорелое лицо было все изрыто шрамами, а глаза, смотревшие смерти в лицо более чем в тридцати кровопролитных сражениях, выражали скорее спокойное презрение к опасности, чем необузданную отвагу. В ту минуту его высокая прямая фигура была укутана в просторный халат, подпоясанный ремнем, на котором висел кинжал в богатой оправе; на шее у него была лента с орденом Святого Михаила^[66]. Он сидел на софе, покрытой оленьей шкурой, с очками на носу (новейшим изобретением в то время) и читал объемистую рукопись под названием «Rosier de la Guerre»¹⁸, составленную Людовиком в назидание своему сыну-дофину^[67] из свода военных и гражданских постановлений, о которой он хотел знать мнение опытного шотландского воина. При входе неожиданных посетителей лорд Кроуфорд с видимой досадой отложил в сторону рукопись и спросил на своем родном языке:

– За каким чертом я опять понадобился?

На это Меченый чуть ли не с бóльшим почтением, чем он выказал бы самому Людовику, подробно объяснил ему затруднительное положение своего племянника, заключив рассказ просьбой о заступничестве. Лорд Кроуфорд внимательно его выслушал. Он добродушно улыбнулся наивности юноши, бросившегося на помощь повешенному, и озабоченно покачал головой, когда узнал о стычке шотландских стрелков со стражей прево¹⁹.

– Долго ли еще вы будете являться ко мне с такими историями и заставлять меня расхлебывать вашу кашу? – спросил он. – Сколько раз мне повторять – в особенности тебе, Людовик Лесли, и тебе, Арчи Каннингем, – что солдат на чужой стороне должен вести себя скромно и прилично, если не хочет переполошить собак со всех дворов? Впрочем, если вы не можете без ссор, то уж лучше поссориться с этим негодяем прево, чем с кем-нибудь другим. На этот раз я даже не стану бранить тебя, Людовик, как браню за твои всегдашние выходки, ибо с твоей стороны было вполне естественно вступить за юного родственника. Мы не дадим молодца в обиду! Подайте-ка мне наши списки... вон с той полки... мы сейчас же впишем его имя, чтобы он мог пользоваться нашими привилегиями.

– Позвольте вам сказать, ваша милость... – начал было Дорвард.

– Да ты с ума спятил, братец! – перебил его дядя. – Как ты смеешь первый заговаривать с его милостью?

– Не горячись, Людовик, – сказал лорд Кроуфорд. – Послушаем, что он нам скажет.

– Всего два слова, не в обиду будь сказано вашей милости, – ответил Квентин. – Я уже говорил дяде, что сомневаюсь, поступать ли мне в здешнюю гвардию. Теперь я хотел только сказать, что, после того как я увидел благородного и опытного начальника, под командой которого мне придется служить, у меня не осталось никаких сомнений. Я твердо решил стать в ряды шотландских стрелков, потому что вы внушили мне глубокое уважение.

– Хорошо сказано, дружок, – ответил старый лорд, не совсем равнодушный к комплиентам. – Правда твоя: опыт у меня есть, и, слава богу, я, кажется, могу, не хвастаясь, сказать, что умел им пользоваться и как подчиненный, и как начальник... Ну вот, Квентин, ты и внесен в списки почетной дружины шотландской королевской гвардии. Ты назначен оруженосцем к твоему дяде, теперь он твой прямой начальник. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо...

¹⁸ «Розовый куст войны» (*фр.*).

¹⁹ Между шотландскими стрелками и начальниками королевских военных отрядов часто происходили подобные стычки. Так, в 1474 г. два шотландца были уличены в краже большой суммы денег у Жана Пансара, крупного рыбного торговца. За это они были арестованы прево Филиппом Дюфуром и его стражей; но, когда одного из преступников, по имени Мортимер, вели в тюрьму Шатле, два стрелка шотландской королевской гвардии напали на конвой и отбили арестанта. См. «Хронику Жана де Труа»* за указанный 1474 г. (*Примеч. авт.*)* Жан де Труа – секретарь городского суда в Париже. Ему приписывалась «Хроника Людовика XI», известная также под названием «Скандалная хроника».

Из тебя должен выйти славный солдат, если верить твоей наружности, притом же ты хорошего рода... А ты, Людовик, пригляди, чтобы твой племянник поусерднее занялся военными упражнениями, так как на днях нам, может быть, придется скрестить копья с врагом.

– Клянусь мечом, славная весть, милорд! Долгий мир может всех нас сделать трусами. Я и сам чувствую, что совсем раскис в этой проклятой клетке на башне!

– Ну уж так и быть, слушай, что птичка недавно пропела мне на ухо: «Скоро в поле затрепещет наше знамя боевое».

– За эту песенку я нынче же выпью лишнюю чарку, милорд, – сказал Меченый.

– Кажется, ты не прочь выпить лишнюю чарку и без всякой песенки, братец, – заметил на это лорд Кроуфорд. – Берегись, Людовик: боюсь я, как бы тебе не пришлось когда-нибудь выпить горькую чашу твоей собственной стряпни!

Несколько смущенный этим замечанием, Лесли ответил, что вот уже несколько дней, как он не притрагивался к вину, но что его милости известен обычай дружины спрыскивать вступление нового товарища в ее ряды.

– Правда твоя, я об этом совсем позабыл, – сказал старый лорд. – Я сам пришлю вам несколько фляжек вина на подмогу. Но чтобы к закату все было кончено, слышите? Да смотрите: сегодня послать в караул людей понадежней и, во всяком случае, не участников вашей попойки.

– Приказания вашей милости будут исполнены в точности, – ответил Лесли. – Не забудем выпить и за ваше здоровье, милорд.

– Может быть, я и сам к вам зайду на минутку, – сказал лорд Кроуфорд, – посмотреть, все ли у вас в порядке.

– Милорд для нас всегда желанный гость, – ответил Лесли.

И вся компания вышла в самом веселом настроении и принялась за приготовления к предстоящей пирушке, на которую Лесли пригласил человек двадцать товарищей, обыкновенно обедавших с ним за одним столом.

Солдатские пирушки незатейливы: было бы вдоволь выпивки да закуски, и больше ничего не нужно; но на этот раз Лесли позаботился раздобыть вина получше, пояснив товарищам, что старик – тоже не дурак выпить, хоть и любит проповедовать воздержание; сам он, говорят, здорово пьет за королевским столом, да и ввечеру никогда не упустил случая побеседовать с бутылочкой. «Так вы, братцы, готовьтесь нынче слушать старые рассказы про битвы при Вернейле и Божé»²⁰.

Готический зал, служивший столовой шотландским стрелкам, был наскоро приведен в порядок; разослали слуг за зеленым камышом, чтобы устлать пол, а стены и стол убрали старыми шотландскими флагами, видевшими немало битв, и знаменами, отбитыми у неприятеля.

Следующей заботой было достать для молодого рекрута необходимую форму и вооружение, чтобы он мог явиться на пир в приличном виде, настоящим шотландским стрелком, достойным пользоваться дарованными его дружине привилегиями, благодаря которым теперь, с помощью своих товарищей, он мог открыто презирать могущество и злобу всесильного и неуомолимого прево.

Пир удался на славу; гости веселились от души; к обычному оживлению присоединилась еще радость свидания с земляком, так недавно покинувшим далекую, любимую родину. Стрелки распевали старые шотландские песни, рассказывали старинные предания о шотландских героях, о подвигах отцов и дедов и вспоминали места, где они были совершены, – словом,

²⁰ В обеих этих битвах шотландские союзники Франции отличились под предводительством одного из Стюартов, графа Бьюкана. При Божé они одержали блестящую победу: герцог Кларенс*, брат Генриха V, был убит, а войско его обращено в бегство; при Вернейле они потерпели поражение и почти все были перебиты. (*Примеч. авт.*)* Томас, герцог Кларенс (1388–1421), второй сын Генриха IV, командовал английскими войсками во Франции и погиб в битве при Божé.

на время богатые туренские равнины превратились для наших стрелков в их родную бесплодную, гористую Каледонию^[68].

Когда веселье было в полном разгаре и каждый старался вставить словечко, вспоминая далекую милую Шотландию, явился наконец и лорд Кроуфорд, который, как предсказывал Меченый, сидел словно на иголках за столом короля и воспользовался первым предложением, чтобы присоединиться к своим соотечественникам. Появление старого воина еще подогрело общее веселье. На верхнем конце стола для него заранее приготовили почетное место, так как обычаи того времени, да и самый состав шотландской дружины, все члены которой были дворянами, вполне позволяли ее начальнику, несмотря на его высокое положение (выше его стояли лишь король и великий коннетабль), не только садиться за один стол со своими подчиненными, но и пировать с ними, нисколько не роняя своего достоинства.

Однако на этот раз лорд Кроуфорд отказался занять приготовленное для него место и, попросив собравшихся «веселиться и не обращать на него внимания», отошел в сторонку и, по-видимому, с большим удовольствием стал смотреть на пирующих.

– Оставь его, – шепнул Каннингем Линдсею, когда тот предложил было вина старому лорду. – Оставь его... Зачем погонять чужого вола? погоди, он и сам повезет.

И правда, лорд Кроуфорд, который сначала только улыбнулся, покачал головой и отставил в сторону кубок, предложенный ему Линдсею, начал понемногу, будто в рассеянности, прихлебывать из него; потом вдруг вспомнил, что нельзя же не выпить за здоровье нового товарища, вступающего в их ряды, и предложил тост за Дорварда, встреченный, само собою разумеется, дружными и веселыми криками. Затем старый воин сообщил товарищам, что он уладил дело с Оливье.

– А так как брадобрей, как вам известно, не очень-то долюбивает живодера, – прибавил он, – то он охотно помог мне добиться от короля предписания, чтобы прево прекратил на будущее время всякие преследования Квентина Дорварда и всегда уважал привилегии, дарованные шотландской гвардии королем.

Эти слова были встречены новыми оглушительными криками восторга. Кубки были наполнены до краев, и все выпили за здоровье лорда Кроуфорда, благородного защитника прав и привилегий своих соотечественников. Разумеется, почтенный лорд не мог не ответить на учтивость такой же учтивостью, после чего, рассеянно опустившись в кресло, он подозвал к себе Квентина и засыпал его вопросами о Шотландии и о знатных шотландских семьях – вопросами, на которые Квентин часто не знал, что отвечать. В то же время старик продолжал частенько прикладываться к кубку, вставляя изредка замечания насчет того, что шотландский джентльмен должен быть общительным и не чуждаться веселой компании; однако молодым людям вроде Квентина следует в этом отношении соблюдать большую осторожность, чтобы не впасть в излишество. Старый лорд наговорил по этому поводу кучу прекрасных вещей и говорил так долго, что под конец его язык, усердно прославлявший воздержание, стал заметно тяжелеть и заплетаться. Между тем с каждой новой распитой флягой воинственный пыл веселой компании все возрастал, и наконец Каннингем предложил тост во славу Орифламмы^[69] – французского королевского знамени.

– И за ветер из Бургундии, чтобы его развернуть! – подхватил Линдсей.

– От всей души, уцелевшей в этом изношенном теле, принимаю ваш тост, дети мои, – тотчас откликнулся лорд Кроуфорд, – и, несмотря на свою старость, надеюсь еще увидеть, как развернется это знамя! Да что там! Слушайте, друзья, – добавил старик (вино сделало его болтливым), – все вы – верные слуги французского короля, и я не вижу, почему бы мне не сказать вам, что сюда приехал посол от герцога Карла Бургундского с поручением далеко не миролюбивого свойства.

– То-то, проходя мимо тутовой роши, я видел там карету, лошадей и свиту графа де Кревкера^[70], – заметил один из гостей. – Говорят, король отказался принять его в своем замке.

– Хвала Творцу! И да внушит он королю мужественный и твердый ответ! – добавил Гутри. – Но в чем же дело? Что послужило причиной недовольствия герцога?

– Множество всяких столкновений на границе, – ответил лорд Кроуфорд, – а главное, что король недавно принял под свое покровительство одну знатную даму, подданную герцога, молодую графиню, бежавшую из Дижона, потому что герцог, ее опекун, хотел выдать ее замуж за своего любимца Кампо-Бассо^[71].

– Она приехала сюда одна, милорд? – спросил Линдсей.

– Нет, с какой-то старухой родственницей, тоже графиней, которая согласилась ее сопровождать.

– Только захочет ли король вмешиваться в ссору между этой графиней и герцогом, ее опекуном, который имеет на нее такие же права, какие имел бы и сам король на бургундскую наследницу в случае смерти герцога? – заметил Каннингем. – Ведь король – сюзерен герцога Карла.

– Король, по обыкновению, поступит так, как ему будет выгоднее, – сказал Кроуфорд. – То, что он принял дам неофициально и не поручил их покровительству своих дочерей – мадам де Боже или принцессы Жанны^[72], доказывает, что он намерен действовать в зависимости от обстоятельств. Он наш господин, но, я думаю, с моей стороны не будет изменой, если я скажу, что он всегда готов служить и нашим и вашим.

– Но герцог Бургундский не признает такой двуличной политики, – сказал Каннингем.

– Разумеется, – отвечал Кроуфорд, – оттого-то и трудно рассчитывать, чтобы переговоры окончились мирно.

– Да поможет им святой Андрей хорошенько подражаться! – воскликнул Меченый. – Лет десять... нет, двадцать тому назад мне было предсказано, что я поправлю свои дела женитьбой. А как знать, что может случиться, если мы начнем драться за честь и любовь прекрасных дам, как бывало в старинных романах?

– Это ты-то, с твоим шрамом, мечтаешь о любви прекрасных дам? – сказал Гутри.

– Лучше совсем не знать любви, чем любить цыганку-язычницу! – отвечал Меченый.

– Довольно, довольно, друзья, – сказал лорд Кроуфорд. – Не играйте острым оружием: насмешка – не шутка. Не надо ссориться. Что же касается этой молоденькой дамы, то она слишком богата для бедного шотландского дворянина, иначе я бы и сам был не прочь предложить ей руку и сердце... и мои восемьдесят лет в придачу. А теперь выпьем за ее здоровье, друзья, потому что она, говорят, изумительно хороша – настоящий светоч красоты!

– Должно быть, ее-то я и видел сегодня, когда стоял поутру на часах у внутренних ворот, – сказал один из стрелков. – Только вернее было бы назвать ее потайным фонариком, чем светочем, так как ее вместе с какой-то другой дамой внесли в замок в крытых носилках.

– Стыдно, стыдно, Арно! – сказал лорд Кроуфорд. – Солдат никогда не должен рассказывать того, что он видел, стоя на часах... И кроме того, – добавил старый лорд, помолчав и уступая своему любопытству, после того как была отдала должная дань дисциплине, – отчего ты думаешь, что это была именно графиня Изабелла де Круа?

– Я ничего не думаю, милорд, я знаю только, что мой конюх Сид, прогуливая лошадей по дороге к деревне, встретил Догина, погонщика мулов, который возвращался из замка, чтобы отдать носилки хозяину гостиницы – той, знаете, с лилиями на вывеске... Вот Догин и предложил Сондерсу Сиду распить с ним бутылочку, и, разумеется, тот охотно согласился...

– Ну еще бы, как не согласиться! – перебил рассказчика старый лорд. – Я давно собирался сказать вам, друзья, что пора изменить ваши порядки. Все эти ваши конюхи да телохранители готовы пить со всяким встречным. Плохой обычай для военного времени, и с ним надо покончить... Однако, Эндрю Арно, я что-то не вижу конца твоей истории, так мы уж подкрепимся

в середине – «Skeoch doch nan skial»²¹, как говорят наши горцы. Пью за графиню Изабелчу де Круа и желаю ей лучшего мужа, чем этот трусливый итальянец Кампо-Бассо!.. Ну а теперь рассказывай, Эндрю Арно, что же сказал погонщик твоему конюху?

– Не в обиду будь сказано вашей милости, – продолжал Арно, – он сказал ему по секрету, что две дамы, которых они с товарищем только что отнесли в замок в крытых носилках, очень знатные леди. Они уже несколько дней скрываются у его хозяина, и сам король не раз тайно посещал их и оказывал им высокие почести. А теперь они скрылись в замке – должно быть, из боязни встретиться с графом де Кревкером, послем герцога Бургундского, приезд которого был заранее возвещен прискакавшим гонцом.

– Так вот оно что! – заметил Гутри. – Ну, теперь я готов поклясться, что слышал, как пела графиня! Сегодня, когда я шел через внутренний двор, я слышал пение и звуки лютни из Дофиновой башни. Ничего подобного я еще не слыхивал в нашем замке... По чести, я подумал, уж не поет ли там сама волшебница Мелузина¹⁷³¹. Я стоял и не мог сдвинуться с места, хоть и знал, что обед давно готов и что меня ждут, – стоял, как...

– Как осел, Джонни Гутри, – перебил его начальник. – Твой длинный нос чуял обед, твои длинные уши слушали музыку, а твой короткий ум не мог решить, чему отдать предпочтение... Но что это? Уж не к вечерне ли благовестят? Не может быть, чтобы было так поздно! Верно, этот дурак пономарь зазвонил часом раньше.

– Нет, пономарь не ошибся, – сказал Каннингем. – И солнце садится на западе этой прекрасной равнины.

– И правда, – сказал лорд Кроуфорд. – Да неужели уж так поздно? Делать нечего, ребята, надо и честь знать. Пить – пей, да дело разумей... Умеренность – мать всех добродетелей; все это мудрые поговорки... Выпьем еще по чарочке за нашу старую Шотландию и вернемся каждый к своему делу.

Собравшиеся осушили прощальные кубки и разошлись. Почтенный лорд с достоинством взял под руку Людовика Меченого, как будто для того, чтобы дать ему кое-какие наставления насчет его племянника, но, быть может, просто потому, что он боялся, как бы его походка не показалась подчиненным менее твердой и уверенной, чем это подобало его высокому сану. Торжественно прошел он таким образом оба двора, отделявшие его квартиру от зала, где происходило пиршество, внушительно наказывая по дороге Людовику, чтобы тот получше присматривал за племянником, особенно когда дело коснется вина и хорошеньких женщин.

Между тем ни одно слово из того, что говорилось за столом о прекрасной графине Изабелле, не ускользнуло от молодого Дорварда, и, когда его привели в крошечную комнатку, которую он должен был занимать вместе с молоденьким пажом своего дяди, он весь отдался сладким мечтам. Что, если и обитательница башенки, прелестная певица, голосом которой он так восхищался, и хорошенькая служанка, прислуживавшая утром дядюшке Пьеру, и богатая, знатная графиня, спасающаяся бегством от ненавистного жениха и жестокого опекуна, злоупотребившего своей властью, – что, если все это одно и то же лицо?

Читатель легко себе представит, какой прекрасный роман мог построить юный воин на такой основе.

Грезы нашего героя не раз заслонялись таинственным образом дядюшки Пьера, имевшего, по-видимому, такую власть даже над тем страшным, могущественным человеком, из рук которого Квентину с таким трудом удалось сегодня вырваться. Наконец мечты юноши, которых не осмеливался тревожить его сожитель Уилл Харпер, были прерваны появлением дяди. Лесли посоветовал племяннику поскорее ложиться в постель, чтобы завтра встать пораньше, так как ему предстоит сопровождать дядю в приемную короля, куда он назначен на караул вместе с пятью товарищами.

²¹ «Обрежем сказку чаркой» (шотл.).

Глава VIII. Посол

*В глазах французов молнией сверкни!
Едва о нашем возвестиишь прибытие,
Моих орудий гром они услышат.
Иди и протруби о нашем гневе!*

«Король Иоанн»^[74]

Если бы лень была способна задержать Дорварда в постели, то шум, поднявшийся в казарме стрелков с первым ударом колокола к заутрене, без сомнения, не замедлил бы прогнать от него это искушение. Но дисциплина отцовского замка и монастыря в Абербротике приучила его подниматься с зарей. Он вскочил с постели и стал проворно одеваться под веселые звуки рожков и громкий лязг оружия, возвещавший смену часовых. Одни из них возвращались в казарму с ночных караулов; другие отправлялись на утреннюю смену; третьи, наконец, и в их числе дядя Квентина, готовились нести службу при особе короля. С восторгом, вполне естественным в его годы, Квентин надел свою новую нарядную форму и блестящее вооружение, а дядя, внимательно и с большим интересом наблюдавший за процедурой его облачения, чтоб удостовериться, что все у него в порядке, не мог скрыть своего удовольствия при виде выгодной перемены в наружности своего племянника.

– Если твоя храбрость и верность окажутся под стать твоей внешности, у меня будет самый красивый и самый доблестный оруженосец во всей нашей гвардии, что, конечно, сделает честь семье твоей матери. Иди за мной в аудиенц-зал, да смотри не отставай от меня ни на шаг!

С этими словами Лесли взял огромный, тяжелый, роскошно разукрашенный бердыш и, вручив племяннику такое же оружие, только несколько меньших размеров, спустился с ним во внутренний двор замка, где его товарищи, назначенные вместе с ним нести караул в покоях короля, уже ждали его, выстроившись в ряд с оружием в руках. За спиной стрелков стояли их оруженосцы, образуя второй ряд. Тут же было несколько доезжачих с прекрасными собаками и красивыми, статными конями в поводу, на которых Квентин так засмотрелся, что дядя был принужден напомнить ему, что эти животные стоят тут совсем не для его удовольствия, а для королевской охоты... Король страстно любил эту забаву – она была одним из немногих развлечений, которые он себе позволял, даже в ущерб правильному течению государственных дел. Он так строго оберегал дичь в своих лесах, что, как говорили, там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя.

По данному сигналу стрелки двинулись вперед под начальством Меченого, назначенного в этот раз их командиром; и через несколько минут после тщательного выполнения многих формальностей, доказывавших, с какой исключительной точностью относятся стрелки к своим служебным обязанностям, они вошли в аудиенц-зал, где с минуты на минуту ожидали выхода короля.

Несмотря на то что Квентин был здесь новичком и не имел представления о пышности и блеске королевского двора, то, что он теперь увидел, не оправдало его ожиданий. Были тут, правда, и придворные в роскошных костюмах, и телохранители в блестящих доспехах, и множество слуг, но Дорвард не видел ни старейших государственных сановников, ни самых знатных вельмож королевства и не слышал ни одного из имен, звучавших призывным набатом для рыцарства тех времен. Не было тут ни великих вождей, ни старых, заслуженных генералов, составлявших силу Франции, ни блестящей, жаждущей славы и подвигов молодежи, составлявшей ее гордость. Подозрительный, замкнутый характер Людовика и его вероломная поли-

тика отдалили блестящих царедворцев от его трона, вокруг которого они собирались только в редких официальных случаях, да и то весьма неохотно, с радостью покидая королевский дворец, как звери в басне, приходившие в пещеру ко льву.

Несколько человек, присутствовавших здесь, очевидно, в качестве советников, были все люди весьма непривлекательной наружности. Правда, у некоторых лица выражали недюжинный ум, но их осанка и манеры показывали, что они попали в среду, для которой не были подготовлены воспитанием. Впрочем, двое или трое из них показались Дорварду по виду более благородными, а так как на этот раз служебные обязанности Лесли не мешали ему болтать, то Дорварду удалось узнать имена заинтересовавших его лиц.

С лордом Кроуфордом, присутствовавшим здесь в полной парадной форме, с серебряным жезлом в руке, Квентин, как и читатель, был уже знаком. Из других обративших на себя его внимание самым замечательным был граф Дюнуа, сын знаменитого Дюнуа^[75], известного под именем Бастарда Орлеанского, который, сражаясь под знаменем Жанны д'Арк, сыграл такую видную роль в освобождении Франции из-под ига англичан. Сын его с честью носил славное имя отца и, несмотря на свое родство с королевским домом и на давнишнюю любовь к нему дворянства и народа, сумел благодаря своему честному, прямому и открытому характеру избежать подозрений даже со стороны недоверчивого Людовика, любившего видеть Дюнуа при себе и иногда даже призывавшего его для совета. Но, отличаясь храбростью, ловко владея оружием и обладая всеми качествами настоящего рыцаря, граф отнюдь не мог служить образцом красоты. Широкоплечий и коренастый, смуглый и черноволосый, с несоразмерно длинными мускулистыми руками, он был слишком мал ростом; к тому же у него были кривые ноги, что очень удобно для всадника, но не очень красиво для пешехода. Черты его лица были неправильны до безобразия, но в то же время в нем было столько достоинства и благородства, что с первого взгляда был виден мужественный дворянин и непобедимый воин. Смелая осанка, твердая, свободная поступь, орлиный взгляд и гордое выражение лица, когда он хмурил свои густые брови, искупали его безобразие. На нем был богатый, но не яркий охотничий костюм, так как он часто исполнял при короле обязанности главного ловчего, хотя, насколько нам известно, не занимал официально этой должности.

Под руку с Дюнуа, словно нуждаясь в поддержке своего родственника, медленно и задумчиво шел Людовик, герцог Орлеанский^[76], первый принц королевской крови (впоследствии король Людовик XII); стража отдала ему подобающую честь, а все присутствующие низко поклонились. Людовик относился с ревнивой подозрительностью к этому принцу, который должен был взойти на престол, если бы Людовик умер, не оставив наследника, и принц не смел отлучаться от королевского двора, при котором он не занимал никакой определенной должности и не пользовался ни популярностью, ни почетом. Такое унижительное положение, очень похожее на неволю, не могло не отразиться на характере несчастного принца, а в настоящее время привычная подавленность его усугублялась еще тем, что, как ему было известно, король замышлял против него величайшую несправедливость, какую только может совершить тиран: он хотел женить его силой на своей младшей дочери, принцессе Жанне, с которой принц с детства был обручен; но принцесса была так безобразна, что настойчивость короля была в данном случае возмутительной жестокостью.

Внешность у этого злосчастного принца была самая заурядная, но видно было, что это человек добрый, кроткий и чистосердечный, несмотря на выражение уныния и отчаяния, постоянно омрачавшее его лицо. Квентин заметил, что принц старательно избегал смотреть на королевских стрелков, и, даже отвечая поклоном на отданную ему честь, он не поднял глаз, как будто боялся, что этот простой акт вежливости будет истолкован подозрительным королем как желание приобрести себе приверженцев среди его телохранителей.

Совершенно иначе держал себя гордый кардинал^[77] и прелат Жан Балю, в то время один из министров – любимцев Людовика, напоминавший своим быстрым возвышением и харак-

тером Уолси^[78], если только можно установить подобное сходство при полной противоположности хитрого, осторожного Людовика и пылкого, сумасбродного Генриха VIII Английского. Людовик взял своего служителя из самого низкого слоя общества и поднял его до высокого звания или по крайней мере до огромного оклада великого раздатчика милостыни Франции^[79], осыпал бенефициями^[80] и выхлопотал для него кардинальскую шапку; и хотя Людовик был слишком осторожен, чтобы облечь честолюбивого де Балу той неограниченной властью и доверием, какое Генрих питал к Уолси, тем не менее этот любимец Людовика имел на него такое влияние, каким не пользовался ни один из признанных его советников. Понятно после этого, что кардинал не избежал обычного заблуждения людей, неожиданно поднимающихся из самых низов к полноте власти. Слепленный быстротой своего возвышения, он сразу уверовал в свою способность вести какие угодно дела, хотя бы даже такие, которые были ему совершенно чужды и непонятны. Высокий, на редкость неуклюжий, он преклонялся и рассыпался в любезностях перед прекрасным полом, что совсем не вязалось ни с его саном, ни с его манерами и фигурой. Какой-то льстец в недобрый час уверил его, что линии его огромных, толстых ног, унаследованных им от отца (по одним источникам – погонщика мулов из Лиможа, а по другим – мельника из Вердена), очень красивы. Кардинал до такой степени проникся этим убеждением, что постоянно приподнимал сбоку свою сутану, чтобы не лишать окружающих удовольствия лицезреть его объемистые ноги. Торжественно проходя по аудиенц-залу в своей пунцовой мантии и роскошной шапке, кардинал беспрестанно останавливался, чтобы взглянуть на вооружение шотландских стрелков, причем делал им замечания самым авторитетным тоном, а иногда даже распекал того или другого из них за то, что он называл отступлением от дисциплины, но в таких выражениях, что опытные воины, хоть и не смели ему возражать, слушали его с видимым презрением и досадой.

– Известно ли королю, – спросил Дюнуа кардинала, – что бургундский посол требует немедленной аудиенции?

– Как же, – ответил кардинал. – А вот, кажется, и сам всеведущий Оливье ле Дэн²², который, вероятно, не замедлит передать нам волю короля.

И правда, не успел он договорить, как из внутренних королевских покоев вышел знаменитый Оливье, любимец Людовика, деливший его расположение с гордым кардиналом, но не имевший с ним ничего общего ни во внешности, ни в манере себя держать. В противоположность высокомерному и напыщенному прелату, Оливье был маленький, худой человек с бледным лицом, в самом простом и скромном черном шелковом камзоле и таких же панталонах и чулках – costume, который едва ли мог выставить в выгодном свете его заурядную фигуру. Серебряный таз, который он держал в руке, и перекинутое через плечо полотенце указывали на его скромную должность. Лицо его отличалось живостью и проницательностью, однако он старался скрыть это выражение и ходил, скромно опустив глаза, или, вернее, скользил неслышно, как кошка, словно стараясь прокрасться незамеченным. Но если скромность может скрыть добродетель, под этой личиной не укроется тот, кто осыпан королевскими милостями. Да и могли пройти незамеченным через приемный зал человек, который, как всем было известно, имел такое огромное влияние на короля, какого добился его знаменитый цирюльник и камердинер Оливье ле Дэн, или иначе – Оливье Негодяй, или еще – Оливье Дьявол! Эти прозвища были даны ему за ту чисто дьявольскую хитрость, с которой он помогал королю приводить в исполнение его вероломные замыслы. Озабоченно пошептавшись о чем-то с графом Дюнуа, который тотчас же вышел из зала, Оливье повернулся и направился опять во внутренние покои, причем все почтительно уступали ему дорогу. Отвечая на ходу униженными поклонами на эту учтивость, он раза два-три остановился, чтобы наскоро шепнуть несколько слов кое-кому из

²² Народная ненависть переименовала Оливье ле Дэна в Оливье Дьявола. Вначале он был цирюльником Людовика, а потом сделался его любимым советником. (Примеч. авт.)

присутствующих, и этого мимолетного внимания было достаточно, чтобы возбудить тайную зависть остальных царедворцев; затем, отговариваясь своими обязанностями, он проворно шел дальше, не дожидаясь ответа и делая вид, что не замечает стараний некоторых из придворных обратить на себя его внимание. На этот раз Людовик Лесли оказался в числе счастливцев, удостоившихся беседы Оливье, который сообщил ему в двух словах, что его дело улажено.

Вслед за тем явилось и другое подтверждение этого приятного известия. В зал вошел старый знакомый Квентина, Тристан Отшельник, великий прево, главный начальник королевской полиции, и прямо направился туда, где стоял Меченый. Блестящая парадная форма еще резче оттеняла его грубое лицо и зловещее выражение глаз, а приветливый тон, которым он старался говорить, больше всего напоминал рычание медведя. Однако смысл его речи был дружелюбнее тона, которым она была произнесена. Он очень сожалел о вчерашнем недоразумении, но произошло оно не по его вине, а по вине племянника господина Лесли, который был не в форме и ни словом не заикнулся о том, что служит в королевской гвардии. Это обстоятельство и было причиной ошибки, за которую он, Тристан, просит теперь его извинить.

Людовик Лесли дал подобающий ответ, но, как только Тристан отошел, сказал племяннику, что теперь они нажили себе смертельного врага в лице этого страшного человека.

– Впрочем, мы для него дичь слишком высокого полета, – добавил он. – Солдат, добросовестно исполняющий свой долг, может не бояться даже великого прево.

Нельзя сказать, что Квентин вполне разделял мнение своего дяди: он видел, какой злобный взгляд Тристан бросил на него, уходя; это был взгляд медведя, стоящего перед охотником, который его ранил. Надо, впрочем, заметить, что даже при обыкновенных обстоятельствах угрюмый взгляд этого страшного человека способен был каждого привести в трепет; понятно поэтому, какой ужас и отвращение испытал теперь молодой шотландец, еще ощущавший на своих плечах прикосновение страшных когтей двух неумолимых помощников этого мрачного исполнителя закона.

Между тем Оливье, обойдя зал так, как было описано выше, прошел опять во внутренние покои. Все, даже самые высшие придворные, расступались перед ним и приветствовали его самым почтительным образом, хотя он, как бы из скромности, делал вид, что весьма смущается этим. Вскоре дверь, за которой он скрылся, широко распахнулась, и в зал вошел Людовик.

Взгляд Квентина, как и взгляды всех присутствующих, обратился в ту сторону, и он так сильно вздрогнул, что чуть не выронил оружия: во французском короле он узнал торговца шелком дядюшку Пьера, своего вчерашнего знакомого. Уже много раз после их встречи в уме его мелькали самые разнообразные догадки о том, кто этот таинственный человек, но действительность далеко превзошла самые смелые его предположения.

Строгий взгляд Лесли, недовольного таким нарушением торжественной церемонии, заставил Квентина опомниться. Но каково же было его изумление, когда король, чьи быстрые глаза сейчас же отыскали его, направился прямо к нему, ни на кого не обращая внимания.

– Итак, молодой человек, – сказал ему Людовик, – ты, говорят, в первый же день своего прибытия в Турень уже успел набедокурить. Но я прощаю тебя, потому что во всем виноват этот старый дурень купец, вообразивший, что твою шотландскую кровь нужно с утра подогреть добрым вином. Если мне удастся его разыскать, я примерно накажу его, в острастку тем, кто вздумает развращать мою гвардию... Лесли, – продолжал король, обращаясь к Меченому, – твой родственник – славный юноша, только немного горяч. Впрочем, мне по душе такие молодцы, и сегодня я больше, чем когда-либо, готов ценить заслуги моих верных и храбрых стрелков. Прикажи записать год, день, час и минуту рождения твоего племянника и передай записку Оливье.

Меченый поклонился до земли и сейчас же снова принял неподвижную позу солдата, как бы желая показать этим быстрым движением свою готовность броситься на защиту короля или действовать по первому его слову. Между тем Квентин, придя в себя после первой минуты

изумления, принялся внимательно рассматривать короля и очень удивился, заметив, до какой степени его обращение и лицо изменились с их первой встречи.

Правда, в одежде его не произошло почти никакой перемены. Людовик всегда презирал щегольство, и теперь на нем был довольно поношенный темно-синий охотничий костюм, лишь немногим получше его вчерашнего камзола. На груди висели крупные четки черного дерева, присланные ему турецким султаном со свидетельством, что они принадлежали одному коптскому пустынножителю с горы Ливан, известному своей святостью. На голове вместо вчерашней шапки с одним образком была шляпа, усаженная кругом простыми оловянными образками многих святых. Но глаза его, выражавшие, как казалось вчера Дорварду, только алчность и жажду наживы, сегодня блестели гордо и пронизательно, как взгляд могущественного и мудрого властелина, а резкие морщины на лбу, которые вчера он приписывал действию многих лет, наполненных мелкими торговыми расчетами, сегодня казались ему бороздами, проведенными мыслью, следами глубоких размышлений о судьбах народов.

Вслед за королем в зал вошли принцессы с дамами своей свиты. Старшая, вышедшая впоследствии замуж за Пьера де Бурбона^[81] и известная в истории Франции под именем мадам де Боже, имеет мало отношения к нашему рассказу. Она была высокого роста и довольно красива, обладала даром слова и унаследовала тонкий ум отца, питавшего к ней большое доверие и любившего ее, насколько он был способен любить.

Младшая, несчастная Жанна, нареченная невеста герцога Орлеанского, робко шла рядом с сестрой. Она совершенно не имела тех внешних преимуществ, которыми обыкновенно так дорожат и которым так завидуют женщины. Болезненная с виду, она была худа, бледна и кривобока; у нее была такая неровная походка, что она казалась хромой. Прекрасные зубы, выразительный, нежный и грустный взгляд и густые русые волосы были единственными привлекательными качествами, о которых сама лесть едва ли осмелилась бы сказать, что они искупают ее безобразие. Чтобы закончить портрет, можно добавить, что небрежность туалета и робость манер принцессы доказывали, что она мучительно сознает всю свою непривлекательность и даже не делает ни малейшей попытки исправить при помощи искусства то, в чем отказала ей природа, или испробовать силу других чар.

Король, не любивший младшую дочь, подошел к ней, как только она вошла.

– А, дочь моя, презирающая свет... Куда это ты так нарядилась сегодня утром – на охоту или в монастырь? Отвечай!

– Куда прикажете, государь, – еле слышно ответила принцесса.

– Я знаю, Жанна, тебе хотелось бы уверить нас, что твое заветное желание – покинуть двор и отказаться от света и мирской суеты. Но неужели ты можешь думать, что мы, старший сын святой церкви, стали бы оспаривать у Господа нашу дочь? Сохрани нас Пресвятая Дева и святой Мартин, чтобы мы отказались принести такую жертву, если бы она была достойна алтаря или если бы действительно таково было твое призвание.

Сказав это, король набожно перекрестился и умолк, шепча молитву. В эту минуту Квентину показалось, что он очень похож на хитрого вассала, старающегося умалить достоинство вещи, которую он хочет сохранить для себя, и оправдывается перед своим господином в том, что он не предложил этой вещи ему. «Неужели он осмеливается лицемерить с самим Небом? – подумал Дорвард. – Обманывать Бога и святых, как он обманывает людей, которые не могут проникнуть в его душу?»

Между тем Людовик продолжал:

– Нет, любезная дочь, мне и еще кое-кому лучше известны твои настоящие мысли... Не правда ли, герцог? Подойдите, любезный наш брат, и предложите руку этой преданной весталке, чтобы помочь ей сесть на коня.

Герцог Орлеанский вздрогнул при этих словах и поспешил исполнить приказание короля, но сделал это так неловко и с таким смущением, что король не преминул ему заметить:

– Потиху, потиху, любезный кузен! Умерьте свой пыл... Смотрите, что вы делаете. К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость! Вы чуть было не спустили руку Анны с рукой ее сестры. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны?

Несчастный принц поднял глаза и содрогнулся, как ребенок, которого заставляют дотронуться до предмета, внушающего ему инстинктивное отвращение. Однако, сделав над собой усилие, он взял безвольно опущенную руку принцессы. Когда эта молодая пара стояла потупившись, причем трепещущая рука жениха еле касалась холодных, влажных пальцев невесты, трудно было решить, кто из двоих несчастнее: герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с той, к кому он питал лишь отвращение, или бедняжка принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушает тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни.

– А теперь на коней, господа! – сказал король. – Мы сами будем сопровождать нашу дочь, и да благословят Бог и святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту!

– Боюсь, что мне придется вас задержать, государь, – сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа. – Бургундский посол ждет у ворот. Он требует немедленной аудиенции.

– *Требует?* – переспросил король. – Но разве ты не сказал ему, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу, а завтра праздник святого Мартина, который мы, с помощью Божьей, не желаем осквернять земными помыслами? Послезавтра же мы отправляемся в Амбуаз. Но, возвратившись оттуда, примем его, как только нам позволят другие неотложные дела.

– Я все сказал ему, государь, – ответил Дюнуа, – но он все твердит...

– Черт возьми! Друг мой, что у тебя застряло в горле? Видно, слова этого бургундца трудно проглотить?

– Если бы меня не удерживали мой долг, приказания Вашего Величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого проглотить эти слова, государь. Клянусь Орлеанской девой, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать Вашему Величеству!

– Но, боже мой, Дюнуа, как странно, что ты, сам всегда такой горячий, так строг к такому же недостатку нашего взбалмошного и пылкого брата Карла Бургундского, – сказал король. – А я, право, друг мой, так же мало обращаю внимания на его дерзких послы, как башни этого замка – на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и принес нам этого неожиданного гостя.

– Так знайте же, государь, – ответил Дюнуа, – граф де Кревкер ждет у ворот с трубачами со всей своей свитой. Он объявил, что, если Ваше Величество откажете ему в аудиенции, он будет ждать хоть до полуночи, ибо его господин приказал ему требовать немедленного свидания с французским королем и дело его не терпит ни малейшего отлагательства. Он сказал, что добьется своего и переговорит с Вашим Величеством в любой час, как только вы выйдете из замка и куда бы вы ни шли, государь: по делам, на прогулку или на молитву, и что ничто, кроме грубой силы, не заставит его изменить свое решение.

– Он дурак, – сказал невозмутимо король. – Неужели этот взбалмошный фламандец воображает, что разумному человеку трудно просидеть спокойно двадцать четыре часа в стенах своего замка, когда у него на руках дела целого государства? Сумасбродные головы! Они, кажется, думают, что все люди скроены по их образцу и каждый человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле... Прикажете-ка убрать и накормить собак, друг Дюнуа. Вместо охоты мы сегодня назначим совет.

– Государь, – возразил Дюнуа, – этим вы не отделаетесь от Кревкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенции, то по приказу своего господина он прибьет перчатку к ограде вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности Франции и немедленно объявляет ей войну.

– Вот как! – сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. – И так говорит с нами наш старинный вассал! Так обращается к нам наш любезный кузен!.. Ну что же, Дюнуа, придется нам развернуть наше боевое знамя и кликнуть: «Дени Монжуа!»^[82]

– В добрый час, государь, слава богу! – воскликнул воинственный Дюнуа.

А королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах, так что по залу пронесся негромкий, но отчетливый звон оружия. Король поднял голову и гордо посмотрел вокруг; в этот миг он выглядел и думал, как его герой отец.

Но минутная вспышка уступила место политическим соображениям; при существующих условиях открытый разрыв с Бургундией был бы для Франции чрезвычайно опасен. В то время на английский престол взошел воинственный и храбрый король Эдуард IV, лично участвовавший более чем в тридцати сражениях. Он был братом герцогини Бургундской и, весьма вероятно, ждал только явного разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться во Францию со своими войсками через всегда открытые ворота Кале. Он одержал много блестящих побед в междоусобных войнах и теперь хотел самой популярной у англичан войной с Францией изгладить из народной памяти тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению у короля примешивались сомнения в верности герцога Бретонского^[83] и другие не менее важные политические расчеты. Поэтому, когда Людовик после долгого молчания опять заговорил, хотя тон его голоса не изменился, смысл речи был уже совершенно иной.

– Однако сохрани бог, – сказал он, – чтобы мы, христианнейший король, стали проливать французскую кровь без крайней необходимости, если мы можем избежать этого бедствия, не бесчестя нашего имени. Жизнь наших подданных мы ставим выше всех оскорблений, какие может нанести нашему достоинству какой-нибудь грубиян посол, который, быть может, даже преступил пределы своих полномочий. Впустить сюда бургундского посла!

– *Bead pacifici!*²³ – сказал кардинал де Балю.

– Воистину! А те, кто смиряется, вознесутся – не так ли, ваше святейшество? – добавил король.

– Аминь, – сказал кардинал.

Но почти никто из присутствующих не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлеанского вспыхнуло румянцем стыда, а Меченый не в состоянии был скрыть своих чувств: он чуть не выронил из рук бердыш, который глухо звякнул, задев концом об пол. За такую несдержанность ему пришлось выслушать строгий выговор от кардинала и наставление, как следует стоять на часах в присутствии государя. Сам король был, видимо, смущен воцарившимся кругом тяжелым молчанием.

– Ты о чем-то задумался, Дюнуа, – сказал он, – или ты осуждаешь нас за уступчивость перед этим дерзким послом?

– Нет, государь, – ответил Дюнуа, – я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей. Я просто думал попросить Ваше Величество об одной милости.

– О милости, Дюнуа? Говори, что такое? Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на наше согласие.

– В таком случае я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять тамошним духовенством, – сказал Дюнуа с истинно военной прямоотой.

– Вот действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей, – с улыбкой заметил король.

– Во всяком случае, – ответил граф, – я был бы не худшим командиром для попов, чем его святейшество епископ или, если ему больше нравится, его святейшество кардинал – для солдат гвардии Вашего Величества.

²³ Блаженны миротворцы! (*лат.*)

Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа:

– Может быть, придет скоро время, когда мы с тобой подтянем попов... А пока будем терпеть это самодовольное животное епископа. По теперешним временам и он годится... Ах, Дюнуа, это Рим взвалил нам на плечи и его, и другие тяжелые обузы! Но потерпи, мой друг: будем тасовать карты, пока не добьемся хорошей игры²⁴.

В эту минуту звуки труб во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все присутствующие поспешили разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей, как того требовал этикет.

В зал вошел граф де Кревкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, принятому у послов дружественных держав, он был в полном вооружении и только с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми узорами. С шеи, поверх блестящего панциря, спускался бургундский орден Золотого Руна^[84] – в то время один из почетнейших рыцарских орденов. Красивый паж нес за ним его шлем; впереди шел герольд с верительными грамотами, которые он, преклонив колено, протянул королю. Сам же посол остановился посреди зала, как будто для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его величественной осанкой, решительным взглядом, гордыми манерами и спокойным лицом. Остальная свита стояла во дворе и в прихожей.

– Подойдите, граф де Кревкер, – сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги. – Мы не нуждаемся в верительных грамотах нашего кузена, чтобы принять столь славного воина, и не сомневаемся, что он вполне заслуживает доверия своего господина. Надеемся, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здравье. Если бы вы явились рука об руку с нею, граф, мы могли бы подумать, что вы надели ваши доспехи, чтобы отстаивать первенство ее красоты перед всеми влюбленными рыцарями Франции. Но сейчас мы положительно отказываемся понять, что означает ваш воинственный вид.

– Государь, – ответил посол, – граф де Кревкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у Вашего Величества, но в настоящем случае он не может отвечать вам с той смиренной почтительностью, с какой он обязан говорить с государем, удостоившим его своей королевской милости. Но Филипп Кревкер де Корде говорит не от своего имени: устами его говорит его доблестный государь и повелитель герцог Бургундский.

– Что же скажет нам герцог Бургундский устами графа де Кревкера? – спросил Людовик с царственным достоинством. – Постой! Не забывай, что в эту минуту Филипп Кревкер де Корде говорит с государем своего государя.

Кревкер поклонился и, гордо выпрямившись, проговорил громким голосом:

– Король французский! Великий герцог Бургундский еще раз шлет вам письменный перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами

²⁴ Доктор Драйездаст* замечает здесь, что карты, изобретенные, как утверждают, еще во время предшествовавшего царствования для развлечения Карла V, в периоды его умственного расстройства, по-видимому, быстро распространились среди придворных, поскольку Людовик уже воспользовался ими для приведенной метафоры. Эта же поговорка вложена в уста Дурандарте в заколдованной пещере Монтесиноса**. Указанное происхождение изобретения карт родило на свет один из самых остроумных ответов свидетеля в суде, какие я слышал в своей жизни. Это был ответ покойного доктора Грегори из Эдинбурга одному прославленному шотландскому юристу. Свидетельское показание доктора должно было доказать невменяемость стороны, умственные способности которой подверглись рассмотрению на следствии. При перекрестном допросе доктор признал, что этот человек великолепно играл в вист. «Неужели вы серьезно утверждаете, доктор, – спросил ученый юрист, – что лицо, обладающее превосходными данными для такой трудной игры, требующей высшей степени памяти, рассудительности и комбинационных способностей, может в то же самое время быть повреждено в уме?» – «Я сам не играю в карты, – нашелся доктор, – но в исторических трудах я читал о том, что карты были изобретены для развлечения короля, сошедшего с ума». Этот ответ и решил дело.* *Доктор Драйездаст* – вымышленный персонаж, ученый педант. В некоторых романах он является действующим лицом в предисловиях автора.** *...Дурандарте в заколдованной пещере Монтесиноса*. – Дурандарте и Монтесинос – рыцари в старинных испанских романах. Фигурируют в «Дон Кихоте» Сервантеса (т. II, гл. 23), где, в частности, приведена данная поговорка («Будем тасовать карты...»).

Вашего Величества. Вот первый пункт, на который он требует ответа: намерены ли Ваше Величество дать ему удовлетворение за нанесенные ему оскорбления?

Король мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним коленопреклоненный герольд, и сказал:

– Это дело давно уже рассмотрено нашим советом. Некоторые из перечисленных здесь оскорблений были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим французским подданным; другие ничем не доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и такие, которые не подойдут ни под одну из вышеуказанных рубрик, то, разумеется, мы, как христианский король, никогда не откажемся дать за них должное удовлетворение нашему соседу, хотя все незаконные поступки на нашей границе были сделаны не только без нашего ведома, но и вопреки нашим строжайшим повелениям.

– Я передам ответ Вашего Величества моему благородному господину, – сказал посол, – но осмелюсь заметить, что так как ответ этот ничуть не отличается от прежних уклончивых ответов Вашего Величества на справедливые жалобы моего господина, то я не думаю, чтобы он удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией.

– Да будет так, как угодно Господу, – сказал король. – И если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай!

– Второе требование, на котором настаивает мой государь: чтобы Ваше Величество прекратили тайные сношения с его городами Гентом, Льежем и Малином; чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан; чтобы Ваше Величество изгнали из своих пределов или, вернее, отдали бы для заслуженного наказания в руки их законного государя тех изменников, которые бежали от него, совершив свои вероломные поступки, и нашли надежный приют в Париже, Орлеане, Туре и других французских городах.

– Передай герцогу Бургундскому, – ответил король, – что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет; что мои французские подданные действительно находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии, но сношения эти чисто торгового характера, и не только мне, но и самому герцогу было бы невыгодно их прерывать; что многие фламандцы живут в нашем государстве по тем же причинам и пользуются покровительством наших законов, но, насколько я знаю, между ними нет ни одного скрывающегося изменника или ослушника герцогской воли. Продолжай! Ты слышал мой ответ.

– Как и первый, скажу с прискорбием, государь, – ответил граф де Кревкер, – он недостаточно ясен и прям, чтобы герцог, мой повелитель, счел его должным возмещением за целый ряд происков – тайных, но тем не менее существующих, хотя Ваше Величество и отказываетесь их признать. Но я продолжаю. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему Изабеллу, графиню де Круа, и ее родственницу графиню Амелину, той же фамилии. Это последнее требование герцог основывает на том, что графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют и покровительство у французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю и опекуну, и тем нарушает все законы божеские и человеческие, признаваемые всей цивилизованной Европой. Еще раз жду ответа Вашего Величества.

– Вы хорошо сделали, граф де Кревкер, – сказал Людовик презрительно, – что потребовали аудиенции с утра, потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вассала, бежавшего от гнева моего взбалмошного кузена герцога, то перечень грозит затянуться до самого заката. Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях? А если бы

даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял их под свое покровительство? Где доказательства, что они во Франции и что мне известно их убежище?

– Государь, – сказал Кревкер, – Вашему Величеству известно, что у меня *было* это доказательство... был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вывеской «Лилия», неподалеку от вашего замка; он видел их в вашем обществе, государь, хотя Ваше Величество и были переодеты в недостойный вашего звания костюм турецкого горожанина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил от дам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрию. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому.

– Где же он, этот свидетель? – спросил король. – Приведите его сюда. Посмотрим, осмелится ли он повторить в нашем присутствии свою гнусную ложь.

– Вы заранее торжествуете, государь, потому что знаете, что свидетеля этого больше нет в живых. Это был бродяга-цыган по имени Замет Мограбин. Вчера, как я узнал, он был казнен людьми начальника полиции Вашего Величества... вероятно, затем, чтоб он не мог подтвердить здесь то, что сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем – Филиппа Кревкера де Корде.

– Клянусь Пречистой Девой Эмбренской, – воскликнул король, – это обвинение так нелепо и совесть моя в этом деле так чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться! Мой прево казнит ежедневно воров и бродяг, и это его прямая обязанность, но неужели слова какого-нибудь вора и бродяги, хотя бы они были сказаны самому герцогу Бургундскому в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному нашему кузену, что если он так любит общество подобных людей, то пусть держит их при себе, ибо у меня им, кроме самой короткой расправы да доброй веревки, не на что больше рассчитывать.

– Мой повелитель не нуждается в таких подданных, Ваше Величество, – ответил граф таким непочтительным тоном, какого до сих пор еще себе не позволял, – ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей...

– Всякому терпению наступает конец, – перебил его король. – А так как, по-видимому, единственная твоя цель – оскорблять нас, то мы сами пришлем кого-нибудь к герцогу Бургундскому для окончания переговоров: мы твердо убеждены, что своим поведением ты превышаешь данные тебе полномочия, каковы бы они ни были.

– Напротив, я далеко еще не выполнил их, – сказал Кревкер. – Слушай же, Людовик Валуа, король Франции!.. Слушайте, вельможи и дворяне, здесь присутствующие!.. Слушайте и вы все, честные и добрые люди!.. А ты, герольд Туасон д'Ор, повторяй за мной слова моего государя. Я, Филипп Кревкер де Корде, имперский граф и рыцарь почетного ордена Золотого Руна, именем моего могущественного государя и повелителя Карла, – милостью Божьей герцога Бургундии и Лотарингии, Брабанта и Лимбурга, Люксембурга и Гельдерна, графа Фландрии и Артуа, княжества Эно, Голландии, Зеландии, Намюра и Зутфена, маркиза Священной империи, владетеля Фрисланда, Салина и Малина, – во всеуслышание объявляю вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред, совершенные и нанесенные лично вами или при вашем содействии, с вашего ведома и по вашему подстрекательству, моему государю герцогу и его верным подданным, он, моими устами, отныне отказывается от всякого повиновения и подданства вашему престолу, объявляет вас вероломным лжецом и вызывает на бой как короля и человека! Вот вам залог и подтверждение того, что я сказал!

С этими словами граф снял с правой руки латную перчатку и бросил ее на пол.

До последней дерзкой выходки графа, во время этой необычайной сцены, в аудиенц-зале царило гробовое молчание. Но едва лишь раздался глухой стук ударившейся об пол тяжелой перчатки и вслед за тем громкий возглас Туасона д'Ор, герольда: «Да здравствует Бургунд»

дия!» – как началось всеобщее смятение. В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, престарелый лорд Кроуфорд и еще двое-трое вельмож, которым их звание позволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали: «Бейте его! Рубите его! Он осмелился оскорбить короля в его собственном замке!»

Но король разом восстановил тишину, воскликнув громовым голосом, покрывшим шум и крики:

– Молчать! И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке!.. А вы, граф... Чем обеспечена ваша жизнь? Или, быть может, вы считаете себя неуязвимым, что так опрометчиво рискуете собой? Да и ваш герцог, должно быть, сделан из какого-нибудь особого металла, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычным способом!

– Это правда, он создан из другого, более благородного металла, чем все остальные европейские государи, – ответил бесстрашный граф де Кревкер. – В то время как никто из них не осмеливался дать вам приют... да, *вам*, король Людовик!.. когда вы еще дофином были изгнаны из Франции, когда вы испытывали на себе всю горечь родительской мести и всю силу власти отца-короля, мой благородный государь принял вас и обласкал, как брата. И вот как вы отплатили ему за его великодушие! Прощайте, я кончил, Ваше Величество!

И граф де Кревкер, даже не поклонившись, вышел из зала.

– За ним! За ним! Поднимите перчатку и догоните его! – крикнул король. – Я говорю это не тебе, Дюнуа... И не вам, лорд Кроуфорд: вы слишком стары для такого дела... И не вам, кузен мой, герцог Орлеанский, вы для него слишком молоды... Ваше святейшество... господин епископ Оксерский, ваш прямой долг, ваша священная обязанность – мирить государей... Поднимите же перчатку и постарайтесь вразумить графа Кревкера, указав ему, какой страшный грех он совершил, оскорбив великого государя в его собственном замке и вынуждая его подвергнуть бедствиям войны свое и соседнее государство!

Не осмеливаясь послушаться этого прямого приказа, кардинал де Балю поднял перчатку с такой осторожностью, точно дотронулся до ядовитой змеи (так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны), и поспешно вышел из зала, чтобы исполнить приказание короля.

Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большей частью люди низкого звания, обязанные своим возвышением при королевском дворе отнюдь не доблестным подвигам на поле брани. Бледные от испуга после только что происшедшей сцены, они переглядывались в сильном смущении. Людовик презрительно посмотрел на них и сказал:

– А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа де Кревкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы я знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвезти мой ответ?

– Вы несправедливы к французскому дворянству, государь, – сказал Дюнуа. – Ни один из нас, я уверен, не откажется отвезти герцогу Бургундскому ваш вызов на конце своего меча.

– Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые служат вам, государь, – прибавил старый Кроуфорд. – Ни я и ни один из моих подчиненных, достойных того по своему званию, ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его дерзость. Моя рука еще достаточно тверда, государь, только бы Ваше Величество соизволили дать мне свое разрешение.

– Но Вашему Величеству, – продолжал Дюнуа, – не угодно поручить нам такое дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и Франции.

– Лучше скажи, Дюнуа, – ответил король, – что я не хочу давать волю вашей безумной отваге, которая из-за какого-нибудь пустого вопроса рыцарской чести готова погубить вас самих, французский престол и всю страну. Все вы знаете, как дорог сейчас каждый час мира,

чтобы залечить раны нашей истерзанной страны, а между тем каждый из вас готов очертя голову ринуться в бой из-за какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или из-за бежавшей красавицы, которая, быть может, стоит немногим больше его... Но вот и кардинал – надеюсь, с мирными вестями... Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?

– Государь, – сказал де Балю, – вы задали мне нелегкую задачу. Я объяснил этому гордому графу, какое оскорбление он нанес Вашему Величеству своим дерзким упреком, прервавшим аудиенцию; я сказал ему, что его повелитель, во всяком случае, не мог уполномочить его на столь наглый поступок, который был вызван лишь его собственным необузданным характером, и объявил ему, что такое поведение отдаст его в руки Вашего Величества и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным.

– Вы говорили правильно, – сказал король. – Что же он вам ответил?

– В ту минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, – продолжал кардинал. – Он повернул ко мне голову, выслушал мою речь, не меняя позы, и ответил: «Если бы я был за пятьдесят лье отсюда и мне сказали бы, что король французский оскорбил моего государя, я не задумываясь вскочил бы на коня и прискакал сюда, чтоб облегчить свою душу ответом, который я только что ему дал».

– Я говорил, господа... – сказал король, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения, – я говорил, что в лице графа Филиппа де Кревкера герцог, наш кузен, имеет самого достойного слугу, когда-либо служившего государю... Но вы все-таки уговорили его подождать?

– Только двадцать четыре часа, государь, и на это время взять обратно свой вызов, – ответил кардинал. – Он остановился в гостинице «Лилия».

– Позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет, – сказал король. – Такой слуга – драгоценный камень в венце государя... Двадцать четыре часа? – прошептал он, глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее. – Двадцать четыре часа?... Не много времени!.. Впрочем, за двадцать четыре часа, употребленные с умом, можно сделать больше, чем за целый год, проведенный беспечным бездельником... Но что же я!.. На охоту! В лес, в лес, господа! Любезный родич герцог Орлеанский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайтесь на застенчивость Жанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем Жанна откажется от вашей привязанности... а вы – от ее, – добавил Людовик вслед бедному принцу, который медленно побрел за своей нареченной. – Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий Аллегр выследил нынче вепря, который задаст работу нам всем: и людям и собакам... Дай мне твое копьё, Дюнуа, и возьми мое: оно для меня тяжело, а ведь ты никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней, на коней!

И охотники поскакали.

Глава IX. Охота на вепря

*А я с мальчишками и с дураками
Чугунолобыми водиться буду.
На что нужны мне те, кто с подозреньем
Следят за мной!*

«Король Ричард»^[85]

Несмотря на то что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Слепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кревкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, какую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик отсрочке войны с герцогом Бургундским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает всю важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события.

Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях: короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним, всем своим видом показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый подозрительный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, ни слишком высоко ценивших свои услуги, ни пытавшихся проникнуть в его тайны.

Но, слепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем, при каждом удобном случае заводя разговор о Кревкере и о его посольстве; и хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет больше всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он меньше всего желал говорить. Наконец король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддержавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны.

– Мы едем охотиться и развлекаться, – сказал он, – но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства.

– Надеюсь, Ваше Величество избавите меня от участия в нем, – сказал Дюнуа. – Я рожден сражаться за Францию, мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов.

– А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них, – ответил король. – Он исповедовал Кревкера у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь... Или, может быть, не всю? – добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых темных бровей, словно клинок обнаженного кинжала.

Кардинал вздрогнул и, пытаясь попасть в тон королевской шутке, сказал:

– Действительно, мой сан обязывает меня хранить, тайны, открытые мне на исповеди, но нет *sigillum confessionis*²⁵, которая не растаяла бы под дыханием Вашего Величества^[86].

– А так как его святейство, – продолжал король, – готов поделиться с нами чужими тайнами, то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтоб мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли обе дамы де Круа находятся в наших владениях. К сожалению, мы не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное местопребывание странствующих красавиц, переодетых принцесс и оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений, которые, бла-

²⁵ Тайны исповеди (*лат.*).

годарение Господу Богу и Пресвятой Деве Эмбренской, слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что местопребывание этих дам мне известно. Что бы ответил ты, Дюнуа, на повелительное требование нашего кузена?

– Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете: войны или мира? – сказал Дюнуа с прямою, свойственной его открытому, смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанность и доверие короля, ибо Людовик, как все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу.

– Клянусь честью, я охотно ответил бы на твой вопрос, Дюнуа, если бы знал, чего я хочу, – сказал король. – Но допустим, что я решился на войну... Как же мне тогда поступить с этой красавицей и богатой наследницей, если предположить, что она находится здесь, у меня?

– Выдать ее замуж за одного из ваших верных слуг, у которого есть сердце, чтобы любить, и рука, чтобы защищать ее, – ответил Дюнуа.

– Например, за тебя! – сказал король. – Клянусь Богом, ты со своей прямою более тонкий политик, чем я тебя считал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Роман «Квентин Дорвард» был написан в 1823 г. Хотя на первый взгляд он стоит одиноко среди романов, созданных В. Скоттом, на деле он тесно связан с другим, более поздним романом – «Анна Гейерштейн» (1829), изданном в России под названием «Карл Смелый». Связь «Квентина Дорварда» и этого романа видна уже из содержания предисловия ко второму изданию 1831 г., публикуемого в данном томе.

2.

Людовик XI (1423–1483) – король Франции (1461–1483) из династии Валуа.

3.

О Мильтоновом Сатане шотландский поэт Роберт Бёрнс (1759–1796) говорит в стихотворении «Речь к дьяволу».

4.

...на принципах Макиавелли... – Имеются в виду принципы, изложенные в трактате «Государь» итальянским политическим мыслителем и писателем Никколо Макиавелли (1469–1527), оправдывавшим в политической борьбе любые методы, вплоть до обмана, подкупа, предательства и убийства.

5.

Дуриндарт – итальянизированная форма названия меча Дюрандаля, принадлежавшего герою французских народных песен и сказаний Роланду.

6.

...клинок был закален на Эбро... – Эбро – одна из главных рек Испании; фраза должна означать: «будь даже клинок изготовлен испанскими оружейниками». Испанские клинки славились своим высоким качеством.

7.

...о чем говорит Берк... – Имеется в виду Уильям Берк (ум. в 1798 г.), которому приписывались «Письма Юниуса» (1769–1772), серия политических памфлетов, содержащих резкие нападки на короля Георга III (1760–1820) и правящие круги того времени. Подлинным автором «Писем», по-видимому, был Филипп Френсис (1740–1818).

8.

Агнеса Сорель (1422–1450) – возлюбленная французского короля Карла VII (1403–1461), игравшая большую роль в жизни государства и оказывавшая на короля благотворное влияние. Ее внезапная смерть дала повод подозревать отравление, причем виновником его некоторые считали сына Карла, будущего короля Людовика XI.

9.

Тристан Отшельник, или Луи Тристан (начало XV в. – ок. 1477) – начальник королевской полиции. Выдвинувшись еще при Карле VII, Тристан сделался ближайшим доверенным лицом Людовика XI, после же его смерти впал в немилость.

10.

Маршалси – так назывались специальный суд и тюрьма (главным образом долговая) в Англии (с XIV в. до 1849 г.). Тюрьма эта описана в романе Диккенса «Крошка Доррит».

11.

...его потомок Франциск... – Франциск I, король Франции (1515–1547), двоюродный племянник Людовика XI.

12.

Эдуард IV (1442–1483) – английский король (1461–1483) из Йоркского дома, поддерживавший притязания Бургундского герцогства в его спорах с Францией и воевавший против Франции.

13.

...от «уравнительного груза»... – По условиям беговых состязаний для каждой лошади устанавливалась норма веса всадника, и в карманы всаднику часто клали какой-либо груз.

14.

Рыцарь без страха и упрека – прозвище Пьера дю Террайля Баярда (1473–1524), прославившегося необычным мужеством, подвигами и щепетильностью в вопросах рыцарской чести.

15.

...невежественного, слабоумного крестьянина... – Речь идет об итальянском монахе Франциске де Паула (1416–1508), причисленном католической церковью к лику святых.

16.

Святой Евтропий (I в. н. э.) – один из первых проповедников христианства в Древней Галлии.

17.

Филипп де Комин (ок. 1447–1509) – французский государственный деятель и исторический писатель, автор «Мемуаров», подробно описывающих события царствования Людовика XI и ставших благодаря этому основным источником для изучения этой эпохи. Комин занимал при Бургундском дворе должность советника, но, соблазненный обещаниями Людовика, в 1472 г. перешел к нему на службу и был осыпан почестями. Его «Мемуары», писавшиеся уже после смерти Людовика и впоследствии создавшие Комину славу классика французской средневековой историографии, обнаруживают в их авторе человека, глубоко понимавшего смысл антифеодальной политики Людовика XI.

18.

Фенелон Франсуа (1651 –1715) – французский писатель, автор нравоучительных сочинений, среди которых особой известностью пользовались «Приключения Телемака». Один из персонажей этого романа, Пигмалион, несомненно, обладает многими чертами личности Людовика XI. Это жестокий и хитрый король города Тира, само название которого выбрано не случайно, но должно намекать на Тур – обычную резиденцию Людовика. Скотт приводит отрывок из Фенелона на французском языке.

19.

30 августа 1485 года – ошибка автора: Людовик XI умер 30 августа 1483 г.

20.

Гражданская война в Англии... – Имеется в виду война Алой (герб Ланкастеров) и Белой (герб Йорков) розы (1455–1485).

21.

...кратковременному воцарению Йоркской династии... – Речь идет о правлении Эдуарда IV.

22.

Швейцария утверждала свою свободу... – Конец XV в. ознаменовался успешной борьбой швейцарских кантонов за независимость: битва при Нанси (1477) освободила швейцарцев от подчинения Бургундии, а Швабская война (1499) – от подчинения Германской империи.

23.

Карл Бургундский – герцог Бургундии Карл, прозванный Смелым (1467–1477). При нем Бургундия достигла наибольшего влияния, а территория ее значительно возросла. Сам Карл стремился создать обширную феодальную империю в Западной Европе. Внутренняя его политика сводилась к постоянной борьбе с экономически усиливавшимися городами и жестоким подавлением народных восстаний. Карл погиб в битве при Нанси, и после его смерти Бургундское герцогство постепенно перешло в руки Людовика XI.

24.

...герцог Гельдернский... – Гельдерн – провинция на Нижнем Рейне. Самостоятельное существование герцогство Гельдернское прекратило в 1472 г., когда оно было продано герцогом Арнольдом Гельдернским Карлу Смелому.

25.

Гийом де ла Марк, прозванный Арденнским Вепрем (ок. 1446–1485), – нидерландский дворянин, принадлежавший к старинному роду сеньоров ла Марков. Некоторые представители этого рода в разное время занимали престол льежского князя-епископа, соединявшего в своем лице церковную и светскую власть. Гийом де ла Марк, стремясь захватить епископский престол в Льеже, вошел в союз с льежскими цехами, неоднократно поднимавшими восстания против епископа. Будучи изгнан из Льежа, обосновался в Арденнском лесу и своими набегами и разбоем наводил ужас на окрестные области. В 1468 г., рассчитывая на обещанную Людовиком XI помощь, пытался захватить Льеж, но был изгнан оттуда войсками Карла Смелого. При новой попытке укрепиться в Льеже в 1482 г. был разбит войсками эрцгерцога Австрии и императора Германской империи Максимилиана и бежал в глубь Нидерландов. В 1485 г. был схвачен в городе Сен-Троне и по приказу Максимилиана казнен. Скотт соединил в своем романе события 1468 и 1482 гг.

26.

Взгляните, вот портрет и вот другой... – В эпитафии слова Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт III, сц. 4).

27.

...анекдотов, собранных и изданных отдельной книжкой. – Речь идет о сборнике коротких рассказов и анекдотов «Сто новых новелл», автором которого считался французский писатель Антуан де ла Саль (1388–1469?).

28.

Первая его жена, Маргарита Шотландская, пала жертвой клеветы... – Маргарита Шотландская (1425?–1445), дочь короля Шотландии Иакова I, высокообразованная женщина и поэтесса, в 1436 г. была выдана замуж за будущего короля Франции Людовика XI. Некий дворянин Жан дю Тийе оклеветал ее, обвинив в неверности мужу. Нервное потрясение привело ее к тяжелому заболеванию, от которого она и скончалась.

29.

...сначала он затеял тайный заговор против отца... – В 1440 г. Людовик возглавил заговор феодальной знати против своего отца, короля Карла VII, за что был отправлен им в свое наследное владение Дофинэ. Но, находясь там, Людовик продолжал вести интриги против отца. В 1456 г. он отказался подчиниться королю, вызвавшему его в Париж, и бежал к своему дяде, герцогу Бургундии Филиппу Доброму, при дворе которого провел пять лет.

30.

...едва не был свергнут с престола лигой... – то есть Лигой всеобщего блага, как назывался союз феодалов, объединившихся в борьбе против Людовика XI (1465). Лигу возглавил наследник Бургундского герцогства, сын Филиппа Доброго, будущий герцог Карл Смелый, в ту пору носивший титул графа Шароле. В битве между войсками Людовика и войсками лиги при Монлери (16 июля 1465 г.) Людовик не добился успеха и вынужден был согласиться на переговоры. Они состоялись в следующем году в Конфлане, где Людовик должен был уступить многим притязаниям феодалов.

31.

...как недобитая змея... – Намек на слова Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт III, сц. 2): «Змею мы разрубили, но не добились, – и куски сростутся...»

32.

Я мир, как устрицу, мечом своим открою... – В эпитафии неточно приведены слова Пистоля из «Виндзорских насмешниц» Шекспира (акт II, сц. 2): «Пусть устрицей мне будет этот мир, его мечом я вскрою...»

33.

...на подбежавшего к нему самаритянина... – В Евангелии рассказывается, как некий самаритянин оказал помощь ограбленному и израненному чужеземцу-путешественнику.

34.

...жалкой оловянной бляхи с изображением Божьей Матери, вроде тех, что приносят из Лорето... – Лорето – город в Италии, знаменитый местной святыней – домом Богоматери, якобы чудесным образом перенесенным из Палестины.

35.

...в часовню Святого Губерта. – Святой Губерт (ум. в 727 г.) – личность историческая, в католическом мире считался покровителем охотников.

36.

...на каждом шагу расставлены ловушки и западни... – Особые меры предосторожности как в замке, так и в окружавшем его парке были предприняты королем в последние годы его жизни – после того, как он избавился от большинства своих противников и расширил пределы страны, – словом, примерно десять лет спустя после событий, описанных в романе.

37.

Высокий замок впереди встает... – Эпиграф Скотта.

38.

Святые Небеса! Какие челюсти! И что за хлеб! – Эпиграфом служит неточная цитата из романа Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена».

39.

...как те гомеровские герои, которые, отведав лотоса, забывали и родину, и близких... – Лотофаги (Гомер, «Одиссея», IX) – сказочный народ, питавшийся лотосами, которые давали вкушавшим их забвение прошлого.

40.

...я придерживаюсь мнения Дугласов... – Дугласы – старинный дворянский род, соперничавший в могуществе с шотландскими королями.

41.

...кто, подобно гробу Магомета... находится меж двух магнитов... – По мусульманской легенде, железный гроб с телом Магомета свободно висел в воздухе, удерживаемый притяжением огромных магнитных столбов.

42.

Да о ком же, как не о благородном Людовике Люксембургском... – Луи де Сен-Поль, граф Люксембургский (1418–1475), коннетабль (главнокомандующий войсками) Франции.

43.

Бишоп, сэр Генри Роули (1786–1855) – английский композитор, написавший оперу на сюжет романа Скотта «Гай Мэннеринг».

44.

Стивенс Екатерина (1794–1882) – певица, исполнительница шотландских народных песен и оперных партий, в частности в операх на сюжеты Скотта («Айвенго», «Эдинбургская темница»). В 1838 г. вышла замуж за графа Эссекса и оставила сцену. Стихотворение в тексте («О рыцарь мой!...») принадлежит Скотту.

45.

Проклятий полон он... – В эпиграфе слова из монолога Жака о возрастах человеческой жизни из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт II, сц. 7).

46.

Знаменитый отряд стрелков... – был учрежден французским королем Карлом VI Безумным (1388–1422), страдавшим приступами душевного расстройства.

47.

...как в наши дни французский язык с швейцарским акцентом – в парижских кабачках. – Намек на швейцарских наемников, которые продолжали служить во французских войсках вплоть до падения монархии Бурбонов (1792).

48.

...в день святого Иуды. – Имя Иуды носили два ученика Христа: Иуда из Кариота и апостол Иуда, день которого праздновался католической церковью 25 октября.

49.

...на тебе останется не больше кожи, чем на святом Варфоломее... – По христианской легенде, святой Варфоломей был подвергнут страшным мукам: с него с живого была содрана кожа.

50.

...ученому монаху из Абербротока... – Монастырь в Абербротоке упоминается и в других романах Скотта (например, в «Пертской красавице»).

51.

...или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом... – Карл Великий (742–814), король франков с 768 г., основал могущественную, но непрочную империю, распавшуюся после его смерти. Его военная и государственная деятельность, размах его начинаний поразили воображение современников. Карл стал героем многочисленных народных сказаний и средневековых романов.

52.

Роберт Брюс (1274–1329) – национальный герой Шотландии, возглавивший борьбу страны за независимость и провозгласивший себя королем (Роберт I).

53.

Уильям Уоллес (ок. 1270–1305) – национальный герой Шотландии, поднявший народ своей страны на партизанскую борьбу против Англии. Был захвачен в плен и обезглавлен.

54.

Барбор Джон (1316?–1395) – шотландский поэт, автор стихотворной хроники «Брюс».

55.

Минстрел – Гарри Менестрель (или Гарри Слепой, ок. 1470–1492) – шотландский поэт, автор поэмы «Уоллес».

56.

...в сражениях при Креси и Азенкуре. – Битва при Креси (1346) и битва при Азенкуре (1415) – наиболее значительные сражения Столетней войны между Англией и Францией. В обоих этих сражениях превосходство английской военной тактики и вооружения принесло англичанам победу.

57.

Сам Дюгеклен, славнейший из рыцарей Франции... – Бертран Дюгеклен (ок. 1320–1380) – коннетабль Франции, знаменитый военачальник во время Столетней войны; организовал в широких масштабах партизанскую борьбу. Под его руководством французские войска в 1370-х гг. освободили значительную часть захваченной англичанами территории Франции.

58.

...его отца, благородного Карла... – то есть французского короля Карла VII (1403–1461), который был коронован в Реймсе благодаря успешным действиям французских войск,

предводительствуемых народной героиней Франции Жанной д'Арк. Во время царствования Карла VII английские войска почти полностью были изгнаны с французской территории и закончилась Столетняя война.

59.

...если король даже и пользуется услугами своего цирюльника Оливье... – Оливье Некер, называемый чаще Оливье ле Дэн, сын фламандского крестьянина, ставший брадобреем Людовика XI и сделавшийся одним из его ближайших помощников, советников и агентов. Людовик наградил его титулом графа Меланского, а впоследствии назначил губернатором Сен-Кантена. После смерти Людовика был предан его наследником и сыном Карлом VIII суду парламента и в 1484 г. повешен.

60.

Так весело, отчаянно шел к виселице он... – Скотт несколько неточно цитирует балладу Роберта Бёрнса «Макферсон перед казнью».

61.

Эй, Птит-Андре и Труазешель... – Прозвища палачей, подручных Тристана, означают «Малыш Андре» и «Три ступеньки». Последним прозвищем палач обязан своей профессии – по трем ступеням осужденный подымался на эшафот.

62.

Людовик называл обыкновенно одного Демокритом, другого Гераклитом... – Демокрит (ок. 460–370 до н. э.) и Гераклит (540–480 до н. э.) – великие древнегреческие философы-материалисты. Принято было считать, что Демокрит осмеивал людские заблуждения, а Гераклит оплакивал их.

63.

Читай устав. Клянись на этой книге... – В комедии «Офицер-вербовщик» английского драматурга Джорджа Фаркера (1678–1707) этих стихов нет.

64.

...сражался вместе с Дугласом и Бьюканом... – Граф Арчибалд Дуглас (1369–1424) служил во французских войсках и погиб в битве при Вернейле (1424), в которой английские войска одержали крупную победу над французами. Джон Стюарт, лорд Бьюкан (1381? –1424) – шотландский дворянин, находившийся, как и Дуглас, на службе у французского короля. После битвы при Боже (1421), принесшей победу французам, стал коннетаблем Франции. Также погиб при Вернейле.

65.

Жанна д'Арк, Орлеанская дева (ок. 1412–1431), – народная героиня Франции, крестьянская девушка, ставшая во главе французских войск в конце Столетней войны.

66.

Лента с орденом Святого Михаила... – Анахронизм: орден Святого Михаила был учрежден Людовиком XI в 1469 г. (то есть год спустя после описываемых событий).

67.

...в назидание своему сыну дофину... – то есть будущему королю (с 1483) Карлу VIII (1470–1498).

68.

...бесплодную, гористую Каледонию. – Каледония – древнеримское название Шотландии.

69.

...тост во славу Орифламмы... – Орифламма представляла собой знамя красного цвета с вышитыми на нем золотыми языками пламени. Почти три столетия Орифламма служила главным воинским знаменем французских королевских войск.

70.

...графа де Кревкера... – Филипп де Кревкер (ум. в 1494 г.) – ближайший сподвижник Карла Смелого, одержавший победы над войсками Людовика XI во время его войны с лигой. После гибели Карла перешел на службу к Людовику XI, который сделал его губернатором Ла-Рошели. При Карле VIII занимал высокие государственные посты и пользовался большим почетом.

71.

...замуж за своего любимца Кампо-Бассо. – Граф Никколо де Кампо-Бассо – итальянский кондотьер XV в., служил Карлу Смелому. В битве при Нанси (1477) покинул Карла, чем способствовал поражению его войск и гибели самого герцога.

72.

...покровительству своих дочерей – мадам де Боже или принцессы Жанны... – Анна де Боже (1460–1522) – старшая дочь Людовика XI, выданная им замуж за сира де Боже. После смерти отца в течение нескольких лет была регентшей королевства, до совершеннолетия своего брата Карла VIII. Жанна Французская (1464–1505) – вторая дочь Людовика XI, в 1476 г. была выдана замуж за принца Людовика Орлеанского, который в 1498 г. развелся с нею, чтобы иметь возможность жениться на вдове Карла VIII. После развода Жанна всецело отдалась благотворительной деятельности. Появление в романе взрослых дочерей Людовика XI – анахронизм, ибо в 1468 г. Анне было восемь лет, а Жанне – четыре года.

73.

...сама волшебница Мелузина. – Мелузина – сказочная фея, обладавшая свойством превращаться в полуженщину-полузмею.

74.

В глазах французов молнией сверкни! – Эпиграф взят из трагедии Шекспира «Король Иоанн» (акт I, сц. I).

75.

...знаменитого Дюнуа... – Жан Дюнуа (1403–1468) – незаконный сын герцога Орлеанского и внук короля Карла V, французский военачальник, храбро сражавшийся вместе с Жанной д'Арк против англичан. После ее гибели освободил от англичан большую часть Нормандии. Затем участвовал в Лиге всеобщего блага – коалиции, направленной против Людовика XI. В романе действует его сын и наследник Франсуа.

76.

Людовик, герцог Орлеанский (1462–1515), – будущий король Людовик XII, занявший французский трон после смерти Карла VIII (1498). Был женат на дочери Людовика XI, Жанне. Участие его в описываемых событиях такой же анахронизм, как и участие в них дочерей Людовика XI.

77.

...гордый кардинал... – Речь идет о Жане де Балю (1421–1491), французском государственном деятеле, пользовавшемся милостями со стороны Людовика XI. В 1467 г. он стал кардиналом, вступил в тайную переписку с Карлом Смелым, в 1469 г. был обвинен в измене, арестован и по приказу короля посажен в железную клетку, в которой просидел одиннадцать лет. Освобожденный по настоянию Папы, уехал в Рим.

78.

...напоминавший своим быстрым возвышением и характером Уолси... – Томас Уолси (ок. 1475–1530) – крупный политический деятель Англии, архиепископ Йоркский и кардинал католической церкви. В 1515–1529 гг. занимал пост лорда-канцлера Англии и нажил себе огромное состояние. Ряд неудач во внешней политике привел к его отставке, поводом к которой послужило отрицательное отношение Уолси к бракоразводному процессу, возбужденному королем Англии Генрихом VIII (1509–1547) против его первой жены Екатерины Арагонской.

79.

Раздатчик милостыни – в феодальной Франции особая придворная должность.

80.

Бенефиции – в средневековой Европе земельные владения, пожалованные без права наследования.

81.

...вышедшая впоследствии замуж за Пьера де Бурбона... – Пьер II, герцог де Бурбон, сир де Боже (1439–1503), – один из ближайших помощников Людовика XI.

82.

«Дени Монжу!» – боевой клич французов. Смысл этого выражения: «Святой Денис (он считался покровителем Франции), радость наша, с нами!»

83.

...сомнения в верности герцога Бретонского... – Речь идет о Франциске II, последнем герцоге Бретонском (1458–1488), который вел упорную борьбу за независимость Бретани от Франции и играл крупную роль в Лиге всеобщего блага. Уже после смерти Людовика XI затеял в союзе с другими феодалами так называемую Безумную войну против сына Людовика, Карла VIII, но потерпел крупное поражение при Сент-Обене (1488) и вскоре умер.

84.

Орден Золотого Руна – рыцарский орден, основанный в 1429 г. герцогом Бургундии Филиппом Добрым.

85.

А я с мальчишками... – В эпитафии неточная цитата из исторической хроники Шекспира «Ричард III» (акт. IV, сц. 2).

86.

...sigillum confessionis, которая не растаяла бы под дыханием Вашего Величества. – В католической церкви священнослужитель обязан хранить тайну исповеди столь же твердо, как хранит тайну письма запечатывающая его восковая печать. Шутка кардинала прозрачно говорит о его готовности не скрывать от короля услышанного им на исповеди.